

Номинативность и процессуальность в философии языка Павла Флоренского (именование и дискурс в обратной перспективе)

Гоготишвили Л.А.

Аннотация: Предлагается альтернативная интерпретация языковой концепции П.А. Флоренского: в противовес ее распространенному толкованию как принципиально ориентированной на именные формы смысла, вплоть до отождествления языковой плоти имени с сущностью, обосновывается возможность интерпретации этой концепции как в значительной мере ориентированной на процессуальные смысловые формы, в том числе – семантически и формально не маркированные.

Ключевые слова: номинативные и процессуальные формы смысла, имеславие, обратная перспектива, именование, круглый дискурс, субъект, предикат, план содержания/план выражения, номинализация/глаголизация дискурса

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ЭКСПЛИКАЦИЯ И ОБЩЕЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ПОДХОДА ПА. ФЛОРЕНСКОГО К ПРОБЛЕМЕ НОМИНАТИВНОСТИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ ЯЗЫКА. 1. Слово- и текстоцентричность как проявление одной из фундаментальных лингвистических антиномий — установки на статику (номинативность) или динамику (процессуальность) 2. Вопрос о статусе чувственной плоти (внешних форм) языка. Связь между двумя антиномиями. 3. Круглый дискурс, обратная перспектива и процессуальность. 4. Характерные черты языковых проекций живописных приемов обратной перспективы: отсутствие чувственных маркеров и процессуальная природа. 5. Дискурс и «пространство». 6. Номинативность и процессуальность как проекция противопоставления вещи и пространства. 7. Дискурс как именуемое целое. 8. Нелексическое синтаксическое именование. 9. Диалектика у Флоренского. 10. Идея семемы слова как свернутой процессуальности.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ И НОМИНАТИВНОСТЬ В ДИСКУРСЕ. 11. Концептуальная подготовка Флоренским введения в процессуальное текстоцентрическое поле нечувственных языковых аналогов приемов обратной перспективы. 12. Случай «центра схода линий» в языковом дискурсе. 13. Соотношение фокусов внимания (аттенциональных фокусов) и интенционального объекта. 14. Случай оттянутого именования интенционального объекта. 15. Другие варианты игры аттенции и интенции. 16. Некоторые положения резюмирующего характера. Дискурсивные константы. 17. Еще один антиномический слой: план выражения/план содержания. 18. Проблема феноменологической наглядности референта как языкового смысла. 19. Смысл, предмет и значение. 20. Аргумент от Флоренского.

РАЗДЕЛ 3. РАЗНОВИДНОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СМЫСЛА И ПРИЕМЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ. 21. Двуголосие как разновидность скрытого процессуального смысла. 22. Процессуальный смысл безглагольных номинативных дискурсов (смены ФВ и эмоциональные сдвиги). 23. Случаи функционирования предикативности в качестве скрытого процессуального смысла. 24. Гипотетическая деноминализация или глаголизация дискурса.

* * *

РАЗДЕЛ 1. ЭКСПЛИКАЦИЯ И ОБЩЕЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ПОДХОДА П. А. ФЛОРЕНСКОГО К ПРОБЛЕМЕ НОМИНАТИВНОСТИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ ЯЗЫКА.

1. Слово- и текстоцентричность как проявление одной из фундаментальных лингвистических антиномий — установки на статику (номинативность) или динамику (процессуальность). Теоретико-лингвистические построения П. А. Флоренского распадаются на две (не всегда формально согласованные по смыслу) сферы, тематическое наполнение которых тяготеет к тому или иному языковому полюсу — слову или тексту; в лингвистике эти два подхода принято обозначать как словоцентричный (лексикоцентричный) и текстоцентричный. В качестве примера подобной дихотомии часто приводится соотношение между имеславием в общепринятом понимании как образцом словоцентричного подхода и бахтинской полифонией как сугубо текстоцентричной доктриной.

Противопоставление лексикоцентричности и текстоцентричности вступает в сложные отношения с дихотомией статичного (именного) и процессуального (дискурсивного) аспектов языковой деятельности; эта проблема, как известно, привлекает в настоящее время пристальное внимание как российских (см., напр., Смирнов 2015), так и европейских (напр., Серио 2012) исследователей. Аналогичные мотивы возникают и вне специально языковой проблематики (напр., в теории творчества: «Исходными понятиями в анализе творчества являются понятия процессов и результатов» — Домбровский 2016).

Предлагаемая здесь интерпретация противоречит распространенному мнению, приписывающему П. А. Флоренскому (как, впрочем, и всем представителям имеславия) принципиальную и бескомпромиссную ориентацию на языковую статику, т. е. сосредоточенность исключительно на номинации. В целях создания «вспомогательного» контрастирующего фона к этому распространенному мнению в статье акцентируется текстоцентрический (процессуальный, дискурсивный) аспект языковой теории Флоренского — без умаления при этом значимости ее словоцентричного аспекта. Для Флоренского номинативный подход и процессуальная установка — две стороны одной медали, в связи с чем очевидное, на первый взгляд, предпочтение, выказываемое в его текстах слову (имени) в ущерб всему остальному составу языка («продавливание» номинативности за счет процессуальности) оказывается при ближайшем рассмотрении мнимым, если не иллюзорным. Сам Флоренский говорит, что эти два «угла зрения на язык антиномически сопряжены: как бы далеко ни шел анализ языка, всегда он — и слово (даваемое предложением) и предложение (состоящее из слов)» (Флоренский 1990, с. 27).

В качестве установочного постулата тезис о фундаментальной «равноценности» слова и предложения (имени и дискурса) разделяется многими исследователями, но одной декларации мало. Дело не в том, чтобы его признать, а в том, чтобы корректно истолковать заявленную в нем антиномичность и выявить операционально релевантную структуру означенной взаимосвязи. Приходится признать, что до консенсусного решения (или хотя бы истолкования) этой проблемы еще далеко: между сферами слова и предложения в лингвофилософской мысли последних десятилетий наблюдается напряжение, порождающее постоянные колебания маятника от семантики к синтаксису и обратно. Поскольку весьма специфическая языковая теория П. Флоренского будет в настоящей работе проинтерпретирована в координатах вышеозначенной дихотомии, постольку, надеюсь, и сама эта дихотомия (номинативность/процессуальность) предстанет в несколько ином свете.

2. Вопрос о статусе чувственной плоти (внешних форм) языка. Связь между двумя антиномиями. Стратегическая установка Флоренского предусматривает не только нерасторжимую сопряженность и неизбежную дихотомичность номинативного и процессуального подходов, но и обогащение этой оппозиции новыми — целенаправленно

наращиваемыми — антиномическими слоями смысла. Иными словами, в пространстве мысли Флоренского дихотомия номинативность/процессуальность погружена в качестве своего рода пары электродов в электролитический языковой раствор, катализирующий наращивание на исходные осевые стержни все новых и новых — зачастую неожиданных и весьма суггестивных — смысловых слоев и коннотаций.

Прежде всего — тех, которые связаны с еще одной известной дихотомией, сопрягающей антиномичные оценки онтологического статуса чувственной (звуковой) плоти языка (его внешних форм). Разброс мнений по этому вопросу чрезвычайно широк: от фактического отождествления языковой формы и сущности (предельно высокий статус чувственной плоти языка) до их крайнего растождествления (предельно низкий статус). Сама по себе эта дихотомия не нова, она давно служит предметом обсуждения в лингвистике, но ее тесное сопряжение с дихотомией номинативность/процессуальность, при котором разрешение одной немислимо без взаимоувязанного разрешения другой, можно расценивать как своего рода визитную карточку Флоренского.

Принято считать, что Флоренский — в органичной корреляции с тезисом о доминировании номинативного смысла над процессуальным — придавал вещественной (чувственно воспринимаемой) плоти языка максимально возможную метафизическую значимость, утверждая прямую и безусловную тождественность (в более мягком варианте — адекватацию) сущности (предмета, вещи) и чувственной плоти ее имени, т.е. считается, что первая половина имяславского тезиса: Имя Бога есть сам Бог — понималась Флоренским в буквальном (в лоб) смысле. Эта сторона имеславия Флоренского постоянно подчеркивается в литературе в предельно жестких формулировках. Так, например, Еп. Иларион (Алфеев) пишет в своей известной (посвященной имеславию) книге «Священная тайна Церкви»: «Флоренский высказывался в том смысле, что имя Божие есть Сам Бог вместе со звуками и буквами этого имени» (Еп. Иларион 2002, с. 56)¹. Если принять подобную трактовку (что Имя есть Бог вместе с чувственной стороной внешней формы языка) всерьез и довести ее до логического конца, то пришлось бы признать позицию Флоренского (равно как и других имеславцев) абсолютно монистической и, в пределе, -- пантеистической. В интересующем же нас языковом отношении она как раз и оказалась бы подходящим (и при этом теоретически адекватным) основанием установки на абсолютное господство в дискурсе именованного — в ущерб самостоятельной смысловой значимости процессуальных аспектов языка (такая установка часто критикуется в качестве «предметной теории смысла»).

Схожее мнение о языковой теории Флоренского высказывалось ранее и мною, хотя и не в столь жесткой форме (Гоготишвили 1997), но со временем мне пришлось скорректировать свою позицию — в том смысле, что я уже не считаю, во-первых, что Флоренский наделял максимально высоким (метафизическим) статусом чувственный аспект имени и, во-вторых, что номинативная сторона языка мыслилась им как господствующая над его процессуальной стороной, со всеми присущими последней формами смысла. С моей сегодняшней точки зрения, вторая часть имеславской формулы («... но Бог не есть ни Его имя, ни имя вообще») интерпретировалась Флоренским (как и другими имеславцами) в духе «усеченного монизма», т.е. с учетом асимметричного характера основополагающей формулы имеславия. Я предлагаю называть такой монизм «усеченным» в том смысле, что во всех версиях имеславия, исходящих из системообразующей антиномии сущности как субстанции и ее энергии, между сущностью и ее чувственным именем усматривается не субстанциальная, а исключительно энергетическая связь, и это так не только у Лосева, но и у Флоренского: «*Идеологическую родословную учения о сущности и энергиях можно было бы чрезвычайно развить, углубляясь корнями в далекое прошлое, прослеживая промежуточные узлы и распространяя по боковым ветвям виширь, — и тогда трудно сказать, какие построения мысли не пришлось бы обсуждать под таким углом. Всякое событие мысли или выросло на общечеловеческой предпосылке (по последнему яркому спору о ней будем называть “имеславием”), или же боролось и опровергало основное начало этого имеславия*» (Флоренский 1990, с. 456).

Такая – весьма обязывающая — интерпретация имеславия потребовала от его адептов выработки сложной интеллектуальной техники, способной овладеть не только статичными, но и процессуальными формами смысла. Присущее имеславскому подходу внутреннее напряжение в том и состоит, что постулируемая им в качестве фундирующего первопринципа энергетическая связь имени с сущностью более органично проявляется скорее не в именных (хотя и в них тоже), а в процессуальных формах языкового смысла, прежде всего — в синтактике и комбинаторике актов сознания, которые вторым темпом транспонируются в языковой синтаксис и третьим темпом — в конфигурации дискурса. Возникновение в построениях Флоренского некоторой нестыковки между номинативной установкой имеславия и процессуальным (дискурсивным) подходом оказывается в этом контексте не только закономерным, но и практически неизбежным. Если, однако, спроецировать на языковую сферу не абсолютизированную (и к тому же грубо вульгаризированную) формулу имяславия, а антиномическую конфигурацию имеславской мысли во всей ее полноте, то мы получим совершенно иные результаты, предельно далекие от прямого отождествления чувственной плоти имени Бога с самим Богом (или Сущностью). Поскольку так сформулированная задача слишком сложна и обширна, рассмотрим для контроля более мягкий и лингвистически респектабельный тезис о якобы наличествующей у Флоренского тенденции придания повышенной значимости чувственной плоти языка. Произвести такую редукцию необходимо, поскольку она открывает возможность выхода из религиозно-мистической сферы и проецирования соответствующих построений на другие области гуманитарного знания, прежде всего — лингвистическую. Вместе с тем эта редукция ни в коей мере не свидетельствует о снижении статуса обсуждаемой проблемы. Ставка остается столь же высокой: везде в данном тексте под «повышенной значимостью чувственной плоти языка» подразумевается попытка утвердить идею тождества, или — в более мягком варианте — адекватности сущности и чувственной стороны ее имени.

В соответствии с вышесказанным в настоящем исследовании будет произведена попытка последовательного — многоступенчатого и разновекторного — доказательства следующих положений: 1) по большому счету Флоренский не отождествлял чувственную сторону имени с именуемой сущностью, сохраняя при этом верность имеславию; 2) отдавая должное номинативности и всячески акцентируя ее значимость, Флоренский тем не менее наделял процессуальные формы языкового смысла не менее (если не более) высоким статусом, чем его номинативные формы; 3) два предыдущих положения в языковой концепции Флоренского тесно взаимосвязаны: снижение статуса чувственной стороны языка одновременно означает повышение статуса чувственно не воспринимаемых смысловых процессов в порождающем высказывание языковом сознании, а каждое акцентирование Флоренским значимости дискурсивности и процессуальности так или иначе — зачастую преднамеренно, а порой и вопреки авторской воле — свидетельствует о снижении значимости чувственной стороны языка. Именно в этом — энергетически-процессуальном — направлении (а не в направлении, ведущем к совершенно неприемлемому для православного мыслителя пантеизму, как утверждается — видимо, по инерции — в подавляющем большинстве публикаций об имеславии) двигалась мысль Флоренского, и именно в этом контексте следует рассматривать его рассуждения о специфике и значимости имен.

С формальной точки зрения поставленная задача может показаться обреченной на неудачу, поскольку тезис о максимально высокой значимости чувственной стороны языка, а с ней и статично понимаемого именованного (номинативности) действительно отчетливо звучит у Флоренского; многие его пассажи, особенно связанные с разбором изолированных лексем, не оставляют, казалось бы, в этом отношении никакого сомнения. Здесь, действительно, формировалась главная конфликтная зона в пространстве мысли Флоренского: антиномии и противоречия, гнездившиеся именно в этой зоне, предопределили появление новых ракурсов рассмотрения, которые позволили достичь многомерной объемности в разработке лингвистических идей, а сформировавшаяся таким образом объемная картина с неизбежностью привела в конечном итоге к существенной корректировке исходной позиции.

3. Круглый дискурс, обратная перспектива и процессуальность. П. Флоренский утверждал необходимость радикальных изменений в господствовавшей на его время «словесно-мыслительной практике» (т.е. в практике построения дискурса), недостатки которой связывались философом со специфически толкуемыми особенностями нового времени (такими, как иллюзионизм, схемостроительство и т.д.). За типом дискурса, выдвигаемым в противовес этим неприемлемым для него установкам, Флоренский закрепил название круглого мышления (или изложения), восходящее, по-видимому (как отмечено в комментариях к авторитетному изданию Флоренского), к круглому мышлению Парменида: бытие шаровидно, мысль и бытие одно; следовательно, мысль шаровидна, кругла (Флоренский 1990, с. 373). Конкретный «операциональный» вектор предлагаемых изменений (т.е. определение конститутивных черт искомого типа словесного изложения, призванного послужить альтернативой наличному доминирующему типу дискурса) исходно разрабатывался Флоренским по аналогии с характерным для изобразительной сферы различием между прямой (аналог наличного положения дел в «словесно-мыслительной практике») и обратной (аналог искомым последствий радикальных изменений в дискурсивной практике) перспективами.

Искомый и обосновываемый самим Флоренским тип дискурса, мыслившийся по аналогии с обратной перспективой, отличается полицентричностью («многоцентричностью», а значит в том числе — и многоименностью по отношению к одному предмету), высокой «волатильностью» (пульсирующим процессуальным характером), нелинейностью (в плане развертывания смысла дискурса), принципиальной множественностью точек зрения (и, соответственно, «точек говорения»); круглый дискурс организован в том числе и ритмически, ему свойственны подвижные ракурсы и в целом — круговое возвратное движение по меткам имен, имеющих в связи с этим сетчато-узловое строение (Флоренский 1990, с. 26-39).

В силу принципиальности этой темы для нашего контекста приведу большую цитату из работы Флоренского «У водоразделов мысли», в которой круглое мышление (изложение) представлено одновременно и как теоретическая модель, и как ее практическая реализация, поскольку сама эта работа задумана и исполнена в стиле круглого дискурса: *«Вот каковым просилось его сочинение в слово: ...это — не одно, плотно спаянное и окончательно объединенное единым планом изложение, но скорее — соцветие, даже соцветия, вопросов, часто лишь намечаемых и не имеющих еще полного ответа, связанных же между собою не логическими схемами, но музыкальными перекликами, созвучиями и повторениями.*

Это — мысленных, мыслительных струй кипенье, ... мысль в ее рождении, — обладающая тут наибольшей кипучестью, но не пробившая еще себе определенного русла. Связи отдельных мыслей органичны и существенны; но они намечены слегка, порою вопросительно, многими, но тонкими линиями. Эти связи, полу-найденные, полу-искомые, представляются не стальными стержнями и балками отвлеченных строений, а пучками бесчисленных волокон, бесчисленными волосками и паутинками, идущими от мысли не к ближайшим только, а ко многим, к большинству, ко всем прочим. Строение такой мысленной ткани — не линейное, не цепью, а сетчатое, с бесчисленными узлами отдельных мыслей попарно, так что из любой исходной точки этой сети, совершив тот или иной круговой обход и захватив на пути любую комбинацию из числа прочих мыслей, притом, в любой или почти любой последовательности, мы возвращаемся к ней же. Как в риманновском пространстве всякий путь смыкается в самого себя, так и здесь, в круглом изложении мыслей, продвигаясь различными дорогами все вперед, снова и снова приходишь к отправным созерцаниям. Эта-то многочисленность и разнообразность мысленных связей делают самую ткань и крепкою, и гибкою, столь же неразрывною, сколь и приспособляющеюся к каждому частному требованию, к каждому индивидуальному строю ума. Более: в этой сетчатой ткани и промыслившему ее — вовсе не сразу видны все соотношения отдельных ее узлов и все, содержащиеся в возможности, взаимные вязи мысленных средоточий: и ему, нежданно, открываются новые подходы от средоточия к средоточию, уже закрепленные сетью, но без

ясного намерения автора. Это – круглое мышление, способ мыслить и прием излагать созерцательно» (Флоренский 1990, с. 26-27).

Подчеркну два момента. 1) Динамичность и процессуальность, как видим, относятся Флоренским к фундирующим свойствам круглого дискурса. 2) Нельзя не увидеть в характеристиках круглого дискурса несомненные параллели с обратной перспективой. Эта общая матрица — или, как говорил Флоренский, непрерывный параллелизм — распространяется на все особенности обратной перспективы и круглого изложения. Не случайно круглое изложение ассоциировалось у Флоренского с имеславием и тесно связывалось с символизмом и одновременно — диалектикой. («То, что называется обратной перспективою, вполне соответствует диалектике. Одно – в области зрения, другое – в области слуха; но по существу и то и другое есть синтез, осуществляемый движением, жизнью». — Флоренский 1990, с. 341). Утверждая здесь, что диалектический синтез в области слуха, т.е. языка, осуществляется посредством движения, Флоренский лишней раз целенаправленно выставляет на первый план языковую процессуальность.

Особенности круглого дискурса мыслились, как мы увидим ниже, в качестве манифестации глубинных — не только номинативных, но и процессуальных — структур, общих для обоих (иконописного и словесного) дискурсов. «Только так может быть понимаемо бесчисленно повторяемое отеческое утверждение... о равносильности иконы и проповеди: иконопись для глаза есть то же, что слово для слуха. Итак, не потому, что икона условно передает содержание некоторой речи, но потому, что и речь, и икона непосредственным предметом своим, от которого они неотделимы и в объявлении которого вся их суть, имеют одну и ту же духовную реальность» (Флоренский 1996, с. 516). И далее, в качестве вывода: «Итак, ты хочешь сказать, иконопись *есть* метафизика, как и метафизика — своего рода иконопись слова. — Да, и в силу этого можно наблюдать непрерывный параллелизм той и другой деятельности, хотя сознательно или, лучше сказать, нарочито он не имеет в виду». (Там же).

Толкуемое таким образом круглое изложение принципиально не аналитично и не систематично (не схемостроительно, в отличие от дискурса, основанного на прямой перспективе), оно измеряется «движением», а значит, восходя к имеславию, круглое мышление, тем не менее, не статично и номинативно, а по большей мере процессуально. В мыслившемся Флоренским идеале круглый тип дискурса соответствует синтезу номинативно-статичного и дискурсивно-процессуального аспектов языкового смысла. В этом типе дискурса именование и предикация не только взаимосвязаны, но и взаимообратимы, как слово и предложение у самого Флоренского. Формальное именование может обернуться в круглом дискурсе (на уровне подразумеваемого смысла) предикатом к «несказанной» сущности, а предикация может обернуться именем некой нефокализуемой инстанции. Хотя утверждение такой взаимообратимости и именования и предикации есть общая черта имеславия (об этом же говорили, в частности, Лосев и Булгаков), в толковании Флоренского содержится характерный авторский момент: взаимообратимость статично-изолированного именования и процессуальной предикации понимается здесь как следствие их рассмотрения в обратной языковой перспективе (ни Лосев, ни Булгаков, при всем принципиальном сходстве их постулатов с установками Флоренского, не привлекали обратную перспективу к толкованию базового процесса именования).

Флоренский был настолько убежден, что нащупал в круглом изложении основной нерв актуальных и чрезвычайно перспективных тенденций в осмыслении этой сферы, что уверенно предсказывал: «общую почву различных течений мысли, просачивающихся и которым предстоит еще просочиться на поверхность исторического сознания, неминуемо будут мысленные ходы, близкие к намеченным здесь» (Флоренский 1990, с. 33). И, судя по всему, не ошибся: идеи, намеченные в его философии языка и теории обратной перспективы, оказались, как известно, близки многим – и притом самым разным — «просочившимся на поверхность» течениям новейшей лингвофилософской мысли, вступая в концептуальные созвучия с

развернувшимися во второй половине XX века спорами об отказе от единства точки зрения и единства предмета, о номинативной и/или процессуальной природе языка и соответствующих «картинах мира», о субъекте/авторе (его расщеплении, смерти, возрождении), о строении ткани-текстуры мысли и слова, коже-поверхности текста, складках, ризоме и т.д. (Бахтин, Шпет, Библер, Мерло-Понти, Фуко, Деррида, Делез и др.).

Разумеется, отмеченное пристальное внимание к проблемам порождения речи и типам дискурса (а значит, к процессуальным аспектам языка) не мешало Флоренскому сохранять верность имеславию, которое, по его определению, было и навсегда останется «общечеловеческой предпосылкой» всякого события мысли. Статичное именование с начала и до конца мыслилось Флоренским как соучаствующее и в процессах порождения речи, но именно — со-участвующее (выступающее не на первых ролях). В философии языка позднего Флоренского способность к адекватности приписывалась не именованию как таковому, а некоему симбиозу номинативных и процессуальных форм смысла. Обратная перспектива, укоренявшаяся Флоренским в имеславии как всеобщей философской предпосылке, выполняла функцию общей методологической установки, структурирующей адекватный словесный дискурс. Само же имеславие Флоренского можно понять как утверждение адекватности предмету именно процессуального (энергетического) типа именованного, осуществляемого в круглом дискурсе, аналогичном обратной перспективе. Если говорить обобщенно, Флоренский шел от традиционного имеславия к дискурсивной процессуальности, а от нее — к синтетической форме процессуального именованного, которое мыслилось достижимым исключительно в составе дискурса, т.е. в динамическом модусе, а не в плане изолированного семантически-референциального акта.

4. Характерные черты языковых проекций живописных приемов обратной перспективы: отсутствие чувственных маркеров и процессуальная природа. Прежде чем остановиться на более подробном рассмотрении особенностей круглого дискурса сформулирую вкратце основной вывод, сделанный мною ранее на основании сопоставления взаимных проекций изображения и словесного изложения и имеющий прямое отношение к круглому дискурсу и процессуальному именованию: *живописные приемы обратной перспективы непосредственно чувственно наглядны, их же языковые проекции – в большинстве случаев нет* (они наглядны только в простых приемах типа «дорисовки»). Вывод основывается на том, в частности, что Флоренскому при всем желании так и не удалось выявить чувственные аналоги применяемого в иконописи (в оптике обратной перспективы) приема *разделки*. Разделка (или «ассистка») в иконописи — это, напомним, *«золотая итриховка или полоски золотом по одежде»*, *«наклеенная особым составом золотая пленка сериями итрихов, а иногда полосками...»* (Флоренский 1996, с. 490); линии разделки выражают *метафизическое* строение самого предмета (*«разделкою... дается метафизика разделанного на изображении...»*, Флоренский 1996, с. 495). Ни золотое сечение, ни звукообразы, ни семантически фиксированные эмоциональные сдвиги, ни иные чувственно данные языковые аналоги этим чувственно воспринимаемым в иконописи метафизическим линиям разделки не соответствуют. Если и можно говорить о чем-то аналогичном разделке в словесном произведении, то только в том смысле, что эта языковая метафизическая разделка поддается восприятию в языке только через *непосредственное понимание* (уразумение), никаких чувственных меток не предполагающее (пример — область матерей в «Фаусте» Гете — Флоренский 2000, с. 119). Очевидно, что придя к подобному выводу, Флоренский был вынужден (более или менее эксплицитно) отказаться от тезиса о метафизической значимости чувственной плоти имени. Такой вывод может быть новостью для нынешних толкователей Флоренского, (руководствующихся односторонними и вульгаризированными представлениями о смысле основополагающего имяславского тезиса), но не для самих представителей теоретического имяславия: Лосев, напомним, изначально строил свою версию имяславия в принципиальном и специально оговоренном отрыве от звуковой стороны (чувственной плоти) языка.

Этот сделанный ранее вывод можно теперь — на основе высказанной выше идеи о концептуальной связи между процессуальностью языка и снижением значимости чувственной плоти имен — развернуть в другую сторону — в сторону дихотомии номинативность/процессуальность — и существенно развить. В свете этой дихотомии проясняется основная причина «функциональной асимметрии» между обратной перспективой в живописи и круглым дискурсом в слове: природа словесного дискурса такова, что приемы обратной перспективы, спроецированные на дискурсивную сферу, приобретают синтетический характер, т.е. формируются при участии не только номинативной, но и процессуальной языковой составляющей. *Процессуальный же смысл* — формулирую принимаемый здесь к дальнейшему развернутому обоснованию тезис — *не имеет в словесном дискурсе прямых чувственных маркеров.*

Схожим образом понимал ситуацию и сам Флоренский — достаточно посмотреть, в частности, на приводимые им характеристики круглого дискурса. По мнению Флоренского, принципиальным аналогом живописной *прямой* перспективы в языке является словесное *системо- и схемостроительство*, которое в пределе может быть отождествлено либо со статичной номинацией, когда по жестким схемам выстраиваются терминированные понятия, либо с «чистой» процессуальностью, когда все сводится к движению\проведению дискурса по определенным динамическим алгоритмам, безразличным к островкам хотя бы условного статичного именованья. (В порядке гипотезы, выскажу предположение, что в качестве образца для критики такого — нацеленного исключительно на процессуальность и потому тоже одностороннего типа дискурса — Флоренский мог понимать соответствующие аспекты неокантианства с его установкой на гипостазирование метода и алгоритмов его реализации).

5. Дискурс и «пространство». Понятие *пространства* в его разных вариациях — характерный концепт Флоренского, имеющий прямое отношение и к дискурсу. Флоренский рассматривает *«непрестанный параллелизм»* между иконописью и метафизикой (в пределе — между живописью и языком как таковым) в координатах разного рода *психофизиологических и социокультурных* «пространств», подразумевая и фактически утверждая тем самым тесную взаимосвязь различных сфер чувствования (ощущений) с мышлением, волеием, языковым выражением и другими видами социокультурной деятельности. Эта установка фундирует разрабатывавшуюся Флоренским теорию *органопроекции* как механизма порождения всех *внешних* форм человеческой жизнедеятельности внутренними психофизиологическими пространствами с их разными частными конфигурациями и единством встроенной в них «матрицы». В силу утверждаемого в теории органопроекции матричного единства психофизиологических пространств разные *внешние* формы человеческой жизнедеятельности характеризуются определенной изоморфностью как статичных, так и динамичных принципов их конституирования. Изоморфность данных принципов предопределена соответствием всех форм деятельности тем или иным *органам чувств* (обладающих генетическим родством) и/или *внутренним* импульсам — чувственным, телесным, эмоциональным, волевым, интеллектуальным и проч. Флоренский считал необходимым проводить (или хотя бы намечать) все возможные векторы такого внешнего и внутреннего соответствия, поскольку исходил из убеждения, что внешние органы чувств человека и различные пространства его внутренних ощущений (волений, помыслов и т. д.) соответствуют реальным *метафизическим осям* мира. Язык, основанный изначально на слухе как проявлении «слуховой метафизической оси», закономерным образом соотносится с изображением, основанном на зрении как проявлении «зрительной метафизической оси». Не входя в эту специальную тему сколько-нибудь подробно, отмечу все же, в частности, что слух настроен на восприятие длящегося процесса и сам процессуален, в то время как зрение более статично (живописный образ имеет «избирательное сродство» со статичной номинативностью).

Казалось бы, теория органопроекции вступает в противоречие с нашим общим выводом, поддерживая тезис о метафизической значимости чувственного облика имени:

слуховое восприятие производится через «орган», который неминуемо набрасывает на воспринимаемое свою «сетку». Однако сама смена предмета рассмотрения у позднего Флоренского – переход от проблем прямой и обратной *перспективы* к проблеме *пространства* – говорит, кроме всего прочего, о теоретическом перемещении вектора интереса от непосредственно воспринимаемой чувственной плоти речи — к тем ее параметрам, которые не поддаются непосредственному восприятию.

Можно противопоставить аргументу о повышении роли чувственности и тот факт, что наряду с психофизиологическими пространствами в списке Флоренского фигурирует — с такими же фундаментальными функциями — и *эстетическое* пространство, не имеющее «за собой» какого-либо одного конкретного органа. В целом, напомним, Флоренский различает три слоя пространства – *физический, геометрический и психофизиологический*. Только последний, психофизиологический, слой ассоциируется (при некоторой схематизации понимания) с пространствами нашей повседневной жизни, «*определяемой психическими и психофизиологическими процессами*». Между двумя первыми и третьим, выдвинувшимся на авансцену — психофизиологическим — пространством тождества нет.

Затем к этим трем слоям Флоренский добавляет четвертый – пространство *эстетическое* – как «*самостоятельный слой в общем понятии о пространстве*». Оно обладает «независимостью» от других пространств и находится с ними в сложных взаимоотношениях.

«Понятие эстетического пространства есть самостоятельный слой в общем понятии о пространстве; самое близкое к понятию эстетического пространства - это понятие пространства психофизиологическое, самое далекое от него понятие о пространстве геометрическом, а строемое физикою лежит посредине между обоими», вместе с тем, однако, эстетическое восприятие «не исчерпывается ни психофизиологией, ни просто психологией и было бы глубоким непониманием нормативности искусства рассчитывать, что можно ограничиться при разборе художественных произведений их психологическими и психофизиологическими элементами...» (Флоренский 2000б, с. 285).

Определяющая же специфическая особенность словесного эстетического пространства как аналога дискурса (здесь мы возвращаемся к интересующей нас постановке проблемы) заключается, по Флоренскому, в том, что это пространство мыслится *нечувственным*: пространственность словесного произведения — в отличие от живописи, скульптуры и других подобных искусств — «*нельзя ни видеть, ни слышать и так далее*; она говорит сама за себя: «*сама собою существует и сама чрез себя понимается*». Флоренский 2000, с. 275). Опора на это особое — нечувственно-эстетическое — пространство придает словесным художественным произведениям, по мнению Флоренского, *целостную форму*, т.е. то, что изначально было объявлено главным средоточием мысли.

Как видим, Флоренский и здесь развивает свою идею «пространственной архитектоники», экстраполируя ее на всю культурную сферу и выходя тем самым за пределы собственно органопроекции. Дело не только в том, что при изложенном понимании исходный тезис о повышенной значимости чувственной плоти имен тускнеет и, по сути дела, аксиологически дезавуируется на фоне чрезвычайно высокой оценки эстетического пространства (нечувственного, но при этом идеально целостного), но и в том, что поскольку словесный дискурс может быть также и эстетическим, неизбежно возникает вопрос о *дискурсивном* и — шире — *языковом* пространстве: как оно выглядело бы в контексте имеславского проекта? Если при разработке вопроса о типах изложения Флоренский действительно имел в виду нечто вроде *языкового пространства*, то он, вероятно, склонился бы к построению модели, согласно которой в дискурсивном языковом пространстве сквозь чувственное облачение внешних языковых форм «просвечивали» бы фундирующие его энергетические и силовые линии, не поддающиеся чувственному восприятию. Применительно к конкретным языковым формам можно предположить, что здесь доминировали бы не прямые, неформализованные способы выражения, опирающиеся на такие категории, как

подразумеваемое, субъект-объектная организация, фокусы внимания, точки говорения, подтекст, алгоритм, ритмическая и смысловая архитектоника, контаминация актов сознания и языковых актов и т.д.

И Флоренский, похоже, действительно имел в виду нечто подобное, поскольку сделал в этом направлении еще один шаг: он заговорил о наличии *мысленной ткани* дискурса (Флоренский 1990, с. 26-27) или, что то же, *мысленного пространства*, подразумевая под ним пространство, вовсе лишенное чувственных маркеров и воспринимающееся исключительно через непосредственное понимание (феноменологическое схватывание, платоническое умозрение, герменевтическое уразумение). Флоренский приписывает *мысленное* пространство философии и науке, отличая его от технического пространства как пространстве наших жизненных отношений, и *эстетического* пространства изобразительных несловесных искусств, которое не мысленно, а наглядно. Это «мысленное пространство» могло бы найти свое место в рамках теории органопроекции только в том случае, если считать органом ум (нус, логос).

6. Номинативность и процессуальность как проекция противопоставления вещи и пространства. Аргументацию в пользу нечувственного характера процессуального языкового смыслообразования можно развертывать и далее — параллельно с дальнейшим развитием Флоренским его «пространственной» идеи. Следует, в частности, учесть, что Флоренский — в целях расширения смыслового поля и в поисках концептуальных сращений актуализированных им принципиально разнящихся подходов — обогатил в АПИВ понятие пространства и, одновременно, слишком абстрактную антиномию номинация/процессуальность (или слово/предложение) за счет привлечения еще одной суггестивной антиномии, которая «намотала» очередной смысловой слой на стержень его языковой теории.

Имеется в виду антиномия пространство/вещь: «Свойства действительности распределяются между пространством и вещами. Они могут быть перекладываемы в большей или меньшей степени с пространства на вещи или, наоборот — с вещей на пространство... Пространство может быть объяснено силовым полем вещей, как и вещи — строением пространства» (Флоренский 2000, с. 92). В языке, как и следовало ожидать, аналогом пространства выступает у Флоренского изложение (дискурс), а аналогом вещей служат имена. Соответственно, дискурс, по Флоренскому, может быть объяснен силовым полем имен, а имена — строением дискурсивного пространства. И тот и другой подход имеет право на существование, но каждый из них в его одностороннем применении сопряжен с негативными последствиями: «Чем больше возлагается на пространство, тем более организованным оно мыслится, а потому — более своеобразным и индивидуальным, но соответственно беднеют вещи (соответственно беднеют имена — Л.Г.), приближаясь к общим типам». (Там же). Акцент же на вещи опустошает пространство: чем больше возлагается на вещи (имена), тем беднее мыслится пространство (дискурс). Не исключено, что поздний Флоренский дает тем самым понять (хотя и косвенно), что при текстоцентричном подходе вместе с именами в определенной степени беднеет (теряет статус истины в последней инстанции) и имеславский тезис.

Мысль Флоренского нацелена прежде своего на достижение компромисса или синтеза между вещью и пространством, а значит — между именем и дискурсом, номинативностью и процессуальностью в речевой деятельности. Имеются, кажется, основания считать, что в области языка Флоренский в конечном итоге делает ставку не на имя (вещь), а на пространство (дискурс): ведь именно опора на эстетическое пространство дает, согласно приведенным выше положениям Флоренского, форму произведениям словесного искусства.

Обобщая, можно сказать, что хотя изощренное и максимально разросшееся сопоставление Флоренским разного рода выделяемых пространств (науки, техники, философии и пр.) может показаться несколько искусственным, оно, как бы то ни было, отчетливо акцентирует важное для нас обстоятельство: то, что именно *пространство* как аналог дискурса

(а не вещь и образ — как аналоги имени) фактически заняло при таком раскладе привилегированное положение. Не исключено, что возможна экстраполяция тезиса о доминировании пространства в художественном слове и на все другие типы дискурсивной практики (в сфере науки, философии и т.д.): все они, будучи словом, «работают» аналогично художественному слову, т.е. с опорой не на имена в узком смысле слова, а в конечном счете — на языковое пространство, на его энергетическую конфигурацию (форму) и процессуальный потенциал.

Дискурс Флоренского может в определенном смысле пониматься как энергетически заряженный симбиоз мысленного и языкового пространств. Возможность подобного решения тем более интересна, что при таком финальном раскладе разрыв с начальным этапом не выглядит столь уж радикальным: ведь имена в имеславии толкуются как своего рода сгустки энергий сущности — именно так понимал дело, как известно, А. Лосев. Об аналогичном подходе Флоренского см. ниже, в разделе о *семеме*.

В целом у Флоренского постепенно нарастает своеобразная «дефетишизация» языковой плоти, метафизически оправдывающая снятие с языка покрова чувственности и возрастание значимости процессуальных форм смысла. В его концепции происходит взрывное высвобождение ядерной энергии имени, позволяющее «переплавить» его в определенным образом оформленное дискурсивное пространство. Имя трансформируется в свернутое потенциальное пространство. Это происходит потому, что имеславие Флоренского, хотя и разрабатывалось ближе к семантическому языковому полюсу (номинации и статичности), изначально содержало в себе процессуальный компонент, приобретающий со временем все более высокий статус. Повышенный интерес к поиску языковых проекций иконописи, трактуемой в свете теории обратной перспективы, т.е. процессуально, закономерно усиливал интерес к процессуально-дискурсивному и нечувственному языковому полюсу, что в конечном счете привело к имплантации процессуальности внутрь самого именованного.

В порядке необходимого объяснения с читателем: я отдаю себе отчет в том, что идея максимальной значимости чувственной плоти имени в плане его отождествления с самой сущностью продолжала при этом сохранять для Флоренского свою притягательность. Отмечу, однако, что сама возможность такого толкования обеспечивалась только за счет акцентирования глубинной процессуальной сути именованного. Именно поэтому здесь принципиально концентрируется внимание на текстоцентричной (дискурсивной) теории Флоренского и оставляются за скобками идеи, изложенные в его лексико-семантических фрагментах, и без того привлекающие чрезмерное, на мой взгляд, внимание исследователей (речь идет о таких вещах, как специфическая трактовка фонемы, этимологические разыскания, игра с корнями, толкование футуризма, заумного языка и, главное, пространственные штудии о значении и провиденциальном смысле личных имен).

7. Дискурс как именуемое целое. Акцентируя в круглом дискурсе внимание на свойственной ему цикличности, относящейся в том числе и к задействованным в нем именам, на расщепленности (множественности) активированных в нем точек зрения и, соответственно, интенционального объекта, на разного рода энергетических свойствах языкового пространства с его полями, силовыми линиями и т. п., Флоренский при этом отнюдь не релятивировал в конечном счете язык и речь (как и изображение в обратной перспективе), но, напротив, подводил к заключению, что эти, и только эти — на первый взгляд «не реалистические» (не способные к прямой референции и именованию) — приемы способны привести к реальному достижению адекватности между высказыванием и его замыслом и/или предметом, т.е., по сущностной аналогии, к их адекватному референцированию.

Я полагаю, что в принципе не исключена возможность понять Флоренского в том смысле, что именно *процессуально понятый текст, но завершённый* («остановленный» и

взятый как целое), т.е. текст во всей совокупности зафиксированной в нем по мере развертывания комбинаторики актов языкового сознания, выполняет по отношению к своему предмету функцию адекватной референции. Предмет схватывается дискурсом в результирующей сумме всех его сторон — как номинативных, так и процессуальных, а не только наличествующими в нем стачными номинациями. Согласно такому подходу, не фрагмент высказывания, не содержащееся в нем отдельное имя и не тот или иной процессуальный смысл (напр., частная предикация), а только дискурс в целом способен достичь адекватности, функционально аналогичной той, которая имеется в виду в расхожей интерпретации имяславия, сводимого к полаганию адекватности между изолированно взятым именем и сущностью как его референтом (см. развитие идеи в разделе о семеме слова).

Можно подойти к делу с другого конца и сформулировать эту мысль Флоренского более радикально: именование может достичь полной адекватности предмету только на путях синтеза процессуальных и номинативных языковых форм. По сути дела, мне нечего возразить против такой формулировки: ведь она работает на снижение значимости чувственной плоти имени и одновременно — на повышение значимости процессуального аспекта языка. При таком подходе можно полагать, что именуемая энергия трансформируется в процессуальную и, так сказать, разливается по всему телу высказывания, формирующегося не столько за счет статичной номинации (производящей лексические островки вещей-имен), сколько под воздействием не поддающегося чувственному восприятию дискурсивного пространства, каркас которого составляют процессуальные по своей природе энергетические (силовые) линии смысла. Не случайно при описании свойств круглого дискурса Флоренский обходит стороной идею непосредственной связи какого-либо конкретного чувственно данного (и статичного) имени с сущностью (с интенциональным объектом круглого дискурса). Все моменты, отмечаемые Флоренским в данном (наивысшем — согласно его же критериям — по уровню адекватности) типе дискурса, *синтаксичны* (или *синтактичны* — в феноменологическом смысле, предполагающем сопряжение языковых актов сознания в порядке их многоступенчатой комбинаторики, включающей в себя, кроме всего прочего, опущения ноэм и ноэс, наличных в параллельном неязыковом сознании или, напротив, наращения дополнительных к ним новых ноэм или ноэс. Что касается наполнения дискурса конкретными языковыми формами, то здесь скорее всего действует закономерность, согласно которой в дискурсе всегда допускается (может предполагаться) возможность замены тех или иных (в пределе — всех) его чувственных составляющих, которая при сохранении процессуальных параметров данного дискурсивного пространства (напр., при сохранении компоновки актов сознания, исходного ритма и т.д.) никак не отразится на имеющемся в виду смысле (предмете, референте). Иными словами, текст, получившийся в результате полной смены языковой плоти, т.е. практически новый в плане чувственного состава, — такой текст, взятый как целое в процессуальном аспекте, может оставаться тем же самым именем, относящимся к тому же самому референту.

8. Нелексическое синтаксическое именование. Но какова при таком понимании дела судьба изолированного имени? Как Флоренский примирял его с процессуальностью, целостностью и референциальной адекватностью дискурса?

На мой взгляд, Флоренский выходил из этого затруднения посредством сужения сферы сущностного именования и расширения спектра разных типов имен. Я не знаю ни одного текста Флоренского, в котором доминировало бы какое-либо имя в его расхожем, псевдо-имеславском понимании. А вот базовое текстоцентрическое (и, стало быть, процессуальное) понятие Флоренского — *круглое мышление и/или изложение* — не только утверждается теоретически как локализованное в процессуальной сфере, но и находит воплощение (наглядно демонстрируется) в языковой практике самого автора. Так, важнейшая в этом отношении работа Флоренского «У водоразделов мысли», в которой как раз и обосновывается круглое изложение, написана манере, отвечающей, по замыслу Флоренского, стратегии круглого дискурса. Таким образом, круглый дискурс получает теоретическое обоснование в работе, исполненной в стратегии круглого дискурса; перед нами редкий образец перформативной

(«самоиллюстрирующей») философии языка (к числу таких образцов можно отнести также известные работы Вяч. Иванова и М. Бахтина).

Формально говоря, следовало ожидать, что круглый дискурс будет рассматриваться в этой работе не только в контексте обратной перспективы как теории изображения (что и было сделано), но и в связи с идеей возвышения чувственной плоти языка в статичном лексикоцентрическом смысле, однако Флоренский многозначительно уклонился от последней задачи, хотя пассажи в духе статичной словоцентричности присутствуют и в этой работе. Акцентирование словоцентричности и высокой (если не магической) значимости статично понятой чувственной плоти языка производится в этой работе Флоренского фактически лишь применительно к *именам собственным*, которые оцениваются как обладающие особым, дополнительным измерением, поскольку они рассматриваются в соотношении не с предметом речи, в которой это имя используется наряду с другими, и не с интенциональным объектом, а с *личностью, носящей данное имя*. Эта тема – не вполне языковедческая, и уж во всяком случае это – нечто принципиально иное, чем известная в лингвистике именная тема (в ее противостоянии процессуально-глагольной теме) и чем то, что приписывается Флоренскому в расхожем толковании его версии имеславия. И это совсем уж не то, что интересует нас в данной статье.

При ретроспективном взгляде из АПИВ на предшествующие работы Флоренского гораздо более значимыми представляются, с предлагаемой точки зрения, другие фрагменты из «У водоразделов мысли» и близких по содержанию трудов. Речь идет о тех фрагментах, в которых «превентивно» обесцвечивается ореол вокруг чувственно данного имени и одновременно усиливается тяготение к процессуальному текстоцентричному подходу. Особого внимания заслуживают, например, фрагменты, в которых Флоренский высказывает свои соображения о *неличных* разновидностях имен, выполняющих разнообразные *дискурсивные функции*. По мнению Флоренского, имя можно рассматривать как «самопроизвольную» метонимию (*«органом самопроизвольного установления связи между познающим и познаваемым служит слово, а в частности – имя, или некоторый эквивалент его – употребляемый как имя: метонимия»*). — Флоренский 1990, с. 461). Из того, что имя — это метонимия, не следует, что метонимия — имя (по Флоренскому, это лишь *эквивалент* имени). Метонимия именно — не имя в стандартном понимании, а фактически *прием*, некий смысловой сдвиг в порядке протекания актов языкового сознания, т.е. *процессуальное языковое явление*. Уравнивая имя с метонимией, Флоренский тем самым недвусмысленно встраивал процессуальность во внутренний состав имени.

Еще более определенно высказывается Флоренский в этом духе в «Именах», где под маркой именованности проходят – помимо имени собственного – не только имена нарицательные, природа которых резко отличается от природы имен собственных, но и тот вскользь упоминаемый, но чрезвычайно важный компонент именного ряда, который может быть обозначен как *нелексическое имя* или, что для нас более релевантно, как *имя синтаксическое* (в пределе – процессуально-глагольное дискурсивное имя). Подобные имена представляют собой синтаксические конструкции, характеризующиеся отсутствием статично именуемой предмет лексем. Существуют имена, которые, по Флоренскому, не выражаются одним словом. В современной лингвистике такого рода явления часто называют синтаксической (иногда – фразовой) номинацией.

Флоренский фиксирует это дискурсивное толкование имени в понятии «синтетического слова» (имени) как «термина»: *«Если выразиться образно, то можно назвать обычный ход диалектического умозрения – путем, восхождением на вершину, а достигнутое синтетическое слово – созерцанием с самой вершины: поступательность движения тут прекращается, но это не значит, что прекращается вообще движение, ибо путник, достигший высшей точки своего пути, заменяет продвижение – вращением: ... малейший поворот вправо или влево даст ему новую полноту возвышенных зрелищ»* (Флоренский 1990, с. 204-205). Связь этого синтетического вращающегося слова-имени (термина) с такими

явлениями, как смена перспективы, изменение направленности внимания и т.д. – словом, с процессуальностью языка вообще и с круглым изложением в частности, -- совершенно очевидна (ниже, при рассмотрении аттенционального движения дискурса эта связь станет еще более наглядной).

В целом можно предположить, что все разновидности отмеченных Флоренским имен, кроме личных, чувствуют себя естественно и непринужденно только в процессуально-текстоцентрической обстановке, т.е. в составе дискурса, а не в положении изолированного статичного имени.

9. Диалектика у Флоренского. Важным свидетельством того, насколько направление мысли Флоренского не соответствует общепринятому тезису о повышенном в его концепции статусе чувственной стороны языка и о доминировании в ней номинативного смысла над процессуальным, является то напряжение, которое возникает в его текстах в связи с этими понятиями вокруг *диалектики*. Сначала сконструируем для этого, воспользовавшись взятыми из разных мест выводными формулировками Флоренского, схематичное рассуждение, позволяющее кратко резюмировать его основную, на мой взгляд, идею. Если прямая перспектива в языке – это словесное схемостроительство, а словесное схемостроительство – имесборчество (иллюзионизм), то (воссоздаю отсутствующее звено) *имеславие – это обратная перспектива в языке*. И действительно, именно такова, как уже определялось, ведущая идея Флоренского.

Поскольку, однако, у Флоренского встречается утверждение, что обратная перспектива в языке – это диалектика, получается, что *имеславие в каком-то смысле эквивалентно диалектике*. В координатах расхожего толкованию Флоренского, имеславие и диалектика — слишком разнородные для уравнивания понятия: ведь первое в общем представлении номинативно-статично, второе — процессуально. Однако в нашем контексте между ними действительно имеется — как это и утверждается Флоренским — принципиальная связь: *поскольку диалектика процессуальна, то, утверждая диалектичность имеславия, Флоренский подчеркивает тем самым его процессуальный характер — в противовес сугубо статичному пониманию номинации*.

Что же касается самой диалектики у Флоренского, то она существенно отличается от диалектики гегелевского типа: последняя в контексте идей Флоренского гораздо ближе к словесному схемостроительству, т. е. к прямой перспективе, чем к имеславию и к обратной перспективе (не случайно ранний Лосев, более склонный к триадической, гегелевской по типу диалектике, говорил, что никакой Флоренский не может убедить его в ненужности для философии *логической*, т. е. «*трансцендентально-феноменологически-диалектической*» точки зрения – Лосев 1993, 692). Лосев-имяславец изначально — принципиально и безо всяких колебаний — выступал против фетишизации чувственной стороны языка, правомерно считая, что при таком подходе диалектика лучше сочетается с имяславием.

Флоренский, который также с самого начала был настроен на антиномический подход, последовательно применял его ко всем значимым тематическим блокам. Пристально вглядываясь в конкретику языковых приемов изложения, создающих напряжение внутри имеславской теории, Флоренский естественным образом применил свой диалектико-антиномический метод и к решению проблемы вещественного компонента языка. Изначально исходя из интуиции *невещественной* природы языка, вполне соответствовавшей диалектико-антиномическому методу, Флоренский и в дальнейшем следовал взятым курсом, диалектически наращивая все новые и новые антиномические слои на свой стержневой тезис. Сравнение с диалектикой Лосева, разрабатывавшего сходные языковые проблемы в духе того же имяславия, оттеняет тот факт, что диалектика Флоренского тяготеет к чистой процессуальности, поскольку она сосредоточена не столько на достижении «синтеза по Гегелю», сколько на процессе

антиномического развертывания. Сохраняя приверженность к антиномизму, Флоренский избегает напрашивающихся синтетических именовании, как и резюмирующих синтезов-тезисов, рассчитывая главным образом на «навеянное» непосредственное понимание; он делает ставку на создание условий для того, что Г. Шпет называл *уразумением*.

Положение о *непосредственном понимании* значимых компонентов языкового высказывания относится к числу наиболее активных и насыщенных смыслом постулатов Флоренского: ведь именно непосредственное понимание является, по его мнению, языковым аналогом *разделки* — приема обратной перспективы в иконописи, с помощью которого фиксируются, как говорилось выше, метафизические оси иконописного изобразительного пространства. (Флоренский 1990, с. 47).

Отметим, что фактически такому *непосредственному* пониманию поддаются у Флоренского именно процессуальные формы смысла, не имеющие в речи чувственных маркеров. В соответствующих процессуальной идее текстах Флоренского можно как раз заметить и постепенно нарастающие снижение значимости чувственного облачения слова, в пределе — до нулевой степени. Нарастание процессуальной идеи и дезавуирование языковой плоти, таким образом, тесно взаимосвязаны у Флоренского постулаты: между ними устанавливается отношение взаимной инверсивной корреляции.

10. Идея семемы слова как свернутой процессуальности. К диалектической теме у Флоренского можно подойти и с другой стороны. Поставим вопрос следующим образом: есть ли в его диалектике место (синтаксическая позиция) для того синтетического «верховного» имени, которое якобы является в его понимании средоточием имеславия? И если да, то где оно располагается? В тезисе, в антитезисе, в синтезе? По логике мысли Флоренского — и там, и там, и там. Диалектическая антиномичность присуща имени как символу, и потому имя, как всякий символ, синтетично. Однако — и это составляет корень проблемы — во всех трех позициях, имея, по замыслу, дело с одним и тем же именем, мы будем «иметь на руках» разные по чувственной плоти слова: одно в тезисе, другое в антитезисе, третье в синтезе. Синтетическое (диалектическое) имя тем самым чувственно растворяется (рас-тroyается) в диалектическом процессе как статично определенная чувственная данность, , но не утрачивает способность выполнять свои прежние функции и обеспечивать поддержание некоего смыслового единства.

При логическом переборе вариантов понятно, что такое толкование не составляет проблемы только в случае признания того, что Флоренский, наряду с акцентированием процессуальности, не настаивал на значимости чувственной звуковой плоти имени: ведь в трех вышеуказанных диалектических позициях проявлялись бы разные ипостаси одного имени, причем они выступали бы при этом в *разных* звуковых и семантических оболочках. «Верховное» же синтетическое имя в пределе безоболочно (не семантизуемо и не наблюдаемо); как сказано у Вяч. Иванова: *Душа... / Единым и Вселиким — / Без имени — полна! — Иванов 1971, с. 748.*)).

По всей видимости, Флоренский решал проблему именно в этом направлении; во всяком случае из разработывавшейся им лексикоцентрической сферы в интересующий нас диалектический (процессуально-дискурсивный) контекст наиболее удачно вписывается намеченная в «У водоразделов мысли» теория *многослойной семемы* слова: «*Как бы по нарезкам винта мое внимание, ввинчивается в семему по ее наслоениям и тем концентрируется, как не могло бы концентрироваться никаким индивидуальным усилием. Слово есть метод, метод концентрации*» (Флоренский 1990, с. 263).

Здесь также с полной ясностью выражена процессуальная установка Флоренского, причем в понимании слова и имени как таковых: ведь «ввинчивание» внимания в вертикально расположенные слои семемы органично преобразуется в дискурсе в их горизонтальное процессуальное развертывание. Флоренский не только мог предполагать это, поскольку писал,

что «формула... есть не что иное, как тот же термин, но в развернутом виде» (там же), но и прямо это утверждал, хотя целостной теории, по-видимому, не разработал: «Имена должны разворачиваться. Полное развертывание этих свитых в себя духовных центров осуществляется целым произведением...». (Флоренский 1998, с. 380).

Это дает нам возможность говорить о преобразовании метода *концентрации* в метод *развертывания* (*раскручивания*) дискурса, в его (как выражался в аналогичном контексте Шпет) *алгоритм*. Горизонтальное развертывание вертикальных слоев семемы можно толковать как проявление энергетических или *силовых линий дискурсивного пространства*. В имени вне дискурса эти силовые линии не активированы, вне процесса речи они вообще не релевантны. Когда же и если имя (слово) понимается как алгоритм развертывания дискурса, т.е. как его *процессуальный код* (или матрица), что мы с несомненностью наблюдаем у Флоренского, тогда оно уже не может выступать в качестве прямого выражения сущности или выполнять функцию метода без «зацикленности» на своей чувственной плоти. Само понятие «метода» процессуально (как процессуальна диалектика): в данном случае метод предполагает череду актов отслаивания и вытягивания по горизонтали сплавленных воедино слоев семем, содержащихся в свернутом винтом слове. Такие акты языкового сознания неизбежно ведут к модификациям и трансформациям чувственного облика задействованных словесных пластов, растягиваемых из исходной фигуры «винтовой резьбы» в линию.

В качестве замечания впрок зафиксирую, что, в отличие от алгоритма Шпета, «алгоритм» развертывания слова содержит у Флоренского не только лексический, синтаксический и телеологический векторы, но практически *все возможные направления развертывания смысла* (аксиологические, социальные, подсознательные, волевые, чувственные и пр.). В самом деле: те вертикальные слои семемы, которые могут горизонтально разворачиваться в дискурс, сами понимались Флоренским (если верить его многочисленным этимологическим штудиям) как возникшие путем отложения разнообразных (в пределе — всех возможных) социально-исторических изменений значений («...наслоения семемы откладываются в слове не произвольно, но - в некотором, более чем только логически связном порядке, и потому, стоит взяться за кончик нити, свитой в клубок мощною волею и широко объемлющим разумом народа, - и неминуемая последовательность поведет индивидуальный дух вдоль этой всей нити, как бы ни была она длинна, и незаметно для себя этот дух окажется у другого конца нити, в самом средоточии всего клубка, у понятий, чувств и волений, которым он вовсе не думал отдаваться» — Флоренский 1990, с. 255).

Нельзя не признать, что в свете рассмотренных выше идей Флоренского приписывание ему принципиальной приверженности к тезису о значимости конкретно данной чувственной стороны имени выглядит совершенно неправдоподобным, особенно на фоне его учения о лексеме, где значимость чувственно воспринимаемых компонентов слова принципиально снижена до крайнего предела.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ И НОМИНАТИВНОСТЬ В ДИСКУРСЕ.

11. Концептуальная подготовка Флоренским введения в процессуальное текстоцентрическое поле нечувственных языковых аналогов приемов обратной перспективы. Флоренский разработал ряд процессуальных по своей природе понятий и основанных на них приемов с использованием идеи «обратности». Эти понятия, в силу своего процессуального (и при этом зачастую обобщенного) характера, хорошо «ложатся» на словесный дискурс, и их проецирование на языковую сферу существенно расширяет область применения обратной перспективы, выводя ее за пределы сугубо зрительного восприятия и тем самым создавая условия для рассмотрения ее нечувственных языковых аналогов в текстоцентричной процессуальной перспективе. Приведу те из обсуждаемых понятий, которые особенно релевантны в нашем контексте.

а) Обобщенное понятие «*обратного мира*» — в смысле «*онтологически зеркального отражения мира*», переносящего нас в область мнимого; это горний, подлинно реальный, в отличие от дольного, мир (мир — «*для тех, кто сам вывернулся через себя, кто перевернулся, дойдя до духовного средоточия мира, — и есть подлинно реальное*» (Флоренский 1990, с. 263). Обратный мир — это идея принципиальной несубстанциальности, соответственно — мир процессуальности, где действуют чувственно не воспринимаемые энергии сущности, которые, будучи родом из горнего мира, оформляют, согласно имеславскому подходу, мир видимый.

б) Понятие *обращенного времени*, в котором процессуальный аспект еще более очевиден. Время может быть «*мгновенным и обращенным от будущего к прошедшему, от следствий к причинам, телеологическим, и это бывает именно тогда, когда наша жизнь от видимого переходит в невидимое (! — Л.Г.), от действительного — в мнимое*», чему соответствует «*время обращенное*», «*время мира невидимого*» (т.е. нечувственного в нашем смысле — Л.Г.), где все «*происходит навыворот, и причина X появляется не прежде своего следствия A, и вообще не прежде всего ряда следствий своих b, c, d, ..., r, s, t, а после всех них, завершая весь ряд и определяя его не как причина действующая, а как причина конечная — τέλος*» (Флоренский 1995, с. 38).

Описанный «ход событий», если он даже представляется нереальным ни в каком другом смысле, более чем реален в смысле дискурсивном: мы легко представляем себе текст, выстроенный по описанной здесь Флоренским дискурсивной стратегии — возвратно-круговой. Обращенное время, процессуальное по определению, и прямо описывается Флоренским как таковое, в частности как энергетическое: «*то, что есть цель при созерцании отсюда и, по нашей недооценке целей, представляется нам хотя и заветным, но лишенным энергии, — идеалом, — оттуда же, при другом сознании, постигается как живая энергия (! — Л.Г.), формирующая действительность, как творческая форма жизни. Таково вообще внутреннее время органической жизни, направляемое в своем течении от следствий к причинам-целям. Но это время обычно тускло доходит до сознания*» (там же).

в) Особую значимость в нашем контексте приобретает понятие «*обратного художества*» (в том числе и в словесном творчестве), основанного на символе. «*Идея от действительности в мнимое, натурализм дает мнимый образ действительного, пустое подобие повседневной жизни; художество же обратное — символизм — воплощает в действительных образах иной опыт, и тем даваемое им делается высшею реальностью*» (Флоренский 1996, с. 70).

Символизм у Флоренского, по сути дела, представляет собой проекцию обратной перспективы на словесную сферу; иными словами, символизм — это словесный дискурс в обратной перспективе. Это означает, что символический дискурс строится не от чувственной данности к потусторонней сущности, или к подразумеваемому смыслу, а в обратном направлении: от трансцендентной сущности к ее выражению в более или менее доступных пониманию чувственных проявлениях, от несемантизуемого подразумеваемого — к языковым данностям, от скрытого символического смысла — к смыслу, явленному во внешних формах языка. Воспользовавшись терминологией Вяч. Иванова, на которую, безусловно, ориентировался Флоренский, можно сказать, что символический словесный дискурс («обратный дискурс») относится к этапу *нисхождения*, т.е. разворачивается «по нисходящей».

12. Случай «центра схода линий» в языковом дискурсе. Приведу несколько примеров нечувственных процессуальных аналогов приемов обратной перспективы в словесном дискурсе. Наибольшие концептуальные трудности возникают при поиске нечувственных языковых аналогов тех изобразительных приемов, в которых сказываются чувственные особенности именно зрения.

Одна из конститутивных особенностей обратной перспективы — инверсия центра схода линий, благодаря которой предметы увеличиваются (расширяются) по мере их удаления от зрителя, *«словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя»*.

Имеются ли языковые проекции этой особенности? Если понять сходящиеся и расходящиеся линии в процессе понимания речи как векторы развития смысла, то в контексте словесного изложения аналогом этой инверсии может служить *процесс понимания высказывания его читателем* (занимающим позицию «зрителя»). В самом деле, расхождение (вместо схождения) смысловых линий вдали от «смотрящего»/«слушающего» и перемещение центра их схождения вовнутрь «смотрящего»/«слушающего» передает телеологию процесса понимания, его конечную точку.

Есть ли в языке аналог тому свойственному обратной перспективе приему, при котором *«предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя»*, и как его можно толковать? Что может быть в языковом изложении нечувственным аналогом зрительно воспринимаемого соотношения *«больше/меньше»*?

Предположим, что таким аналогом может быть *«более значимое / менее значимое»*. Тогда предмет, находящийся *не* на переднем плане языкового сознания (т.е. не в фокусе акта понимания, осуществляемого в данной Точке-Теперь), может мыслиться как «более значимый» (более «крупный»), чем находящийся «впереди» него («ближе» к фокусу акта понимания или непосредственно в нем находящийся, понимаемый здесь и теперь). Такие ситуации более чем органичны для языка, они составляют одно из основных свойств словесного дискурса как такового (если, конечно, отвлечься от грубой остенсии, типа «Трава зеленая»), так что не исключено, что данный изобразительный прием обратной перспективы первично родом из языка (как музыкальная полифония — родом из риторики). Я имею в виду ситуации, связанные с различием между (ввожу общепринятые и удобные феноменологические термины) *аттенциональным фокусом языкового акта сознания и его интенциональным объектом*.

13. Соотношение фокусов внимания (аттенциональных фокусов) и интенционального объекта. Прием *смены фокуса внимания* (ФВ, в феноменологической терминологии — *аттенционального фокуса*) весьма показателен для интерпретации снижения значимости чувственного облачения интенционального объекта и, соответственно, повышения значимости процессуальных аспектов смысла. В теоретическом плане этот прием можно обосновать следующим образом: в каждый данный момент дискурса что-то из его смысла помещается, в силу неотмысливаемых формальных закономерностей языка, в частности — синтаксических, в фокус внимания слушающего, и это «что-то» должно постоянно (фактически — в каждой новой синтаксической конструкции) сменяться, как сменяются кадры в киноленте, развертывание которой можно считать хотя и отдаленным, но функционально близким аналогом развертывания дискурса (кино тем более интересно для сравнения, что в нем, с другой стороны, еще более очевидна аналогия с приемами изображения).

Сошлюсь на обоснование этого приема, данное мною ранее (Гогтишвили 2006, с. 546 - 547): под *сменами фокуса внимания* как формой сцепления языковых актов предлагается понимать специально языковую инсценировку того, что Гуссерль называл аттенциональными сдвигами или поворотами в потоке актов сознания (*«Феноменологически взаимосвязь дана уже вообще возможными поворотами взгляда, которые могут совершаться в пределах любого акта, причем те составы, какие доставляются этими поворотами взгляда, сплетены между собою разного рода сущностными законами»* — Гуссерль, § 148, с. 112 – 113). Дадим предварительные и показательные (за счет опоры на внешнее референциальное поле, что далеко, как мы увидим далее, не обязательно) примеры с целью избежать неясности в вопросе о том, что именно имеется в виду под сменами фокуса внимания: *«У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую Генерал Друо четвертого марта прочел перед толпой*

изумленных обитателей Дина *прокламацию*, написанную в *букте Жуан, сидел жандарм*» (В. Гюго). Подчеркнутые слова (может, и не одни они) фиксируют последовательность сменных фокусов во фразе фокусов внимания. Смены ФВ могут осуществляться, как видно, на границах предложений, внутри сложных предложений, внутри простых предложений, напр., при придаточных предложениях, причастных и деепричастных оборотах, и т. д.).

Из сказанного следует, что в каждом фрагменте дискурса есть свой ФВ со своим помещенным в этот фокус «предметом» (в широком смысле слова); без такого фокуса и постоянной смены попадающих в него предметностей развитие словесного дискурса не осуществимо (ФВ есть в каждом, даже самом кратком, высказывании, включая реплику диалога). В рамках нашей темы ФВ означает *ноэму* (*ноэматическую* смысловую предметность), попавшую в *фокус ноэсы* — в *ноэтический* фокус, т.е. в центр внимания данного (текущего здесь и теперь) акта языкового сознания. Перманентные, непрестанно происходящие на протяжении всего дискурса смены наполнения этого фокуса активно обсуждаются в современной лингвистике, философии сознания, психологии, педагогике, теории кино, информатике и проч.

Эта тема не инородна взглядам Флоренского — он использовал схожие понятия: *указание* осуществляется, «*чтобы сосредоточить молящихся вниманием*» на изображаемое, «...*направленность же внимания есть необходимое условие для развития духовного зрения*» (Флоренский 1996 - <http://www.vehi.net/florensky/ikonost.html>). На глобальной теме «духовного зрения» (связанного с платоническим и религиозно-мистическим умным видением), применительно к которому Флоренский в приведенной цитате акцентирует тему направленности фокуса внимания, я здесь специально останавливаться не буду; скажу только, что оно увязывается Флоренским в том числе и с языком, причем, как и следовало ожидать, имевший Флоренским наделил статусом фокуса мысли в языке именно *имя*: не доходя до оптического фокуса, — пишет Флоренский, — «*мы имеем расплывчатое пятно, ...и только в фокусе возможно истинное познание. Имя и есть фокус нашей мысли*» (Флоренский 1998).

Безусловно, номинация служит исходным толчком для развития мысли (и дискурса). Но все дело в деталях. Если поместить эту проблематику в феноменологический контекст, встанет вопрос: *имя Флоренского – фокус аттенции* (текущей и меняющейся направленности внимания) *или интенции*? Для феноменологии языка фокусирование и перемещение дискурсивного внимания по мере развертывания высказывания – это «горизонтальное» *аттенциональное* скольжение внимания, *интенциональную* же, т.е. референцирующую, направленность (на то, *о чем...*) можно считать его «вертикальным» направлением. Поэтому и ответ на этот вопрос двойится в зависимости от ракурса рассмотрения дискурса: имя может фиксировать и предметность, помещенную в горизонтальный аттенциональный фокус (фокус внимания), и непосредственно интенциональный объект (вертикальный аспект). Эти аспекты чаще всего не совпадают: в *ФВ может быть локализовано одно, а предметом реальной интенции может быть другое*, и это, как мы увидим ниже на примерах, нормальный случай для языка, «играющего» с аттенцией и интенцией.

14. Случай оттянутого именованного интенционального объекта. Будучи органикой языка, игра аттенции и интенции входит в число фундаментальных основ поэзии. У Мандельштама, чуткого к формообразующим силам и смысловым приемам языка, есть в его раннем (юношеском) стихотворении «*Среди лесов, унылых и заброшенных*» максимальное обнажение этого приема за счет активации того, что Флоренский называл, как говорилось выше, обращенным временем:

«Среди лесов, унылых и заброшенных, / Пусть остается хлеб в полях нескошенным! / Мы ждем гостей незваных и непрошенных, / Мы ждем гостей! // Пускай гниют колосья перезрелые! / Они придут на нивы пожелтелые, / И не сносят вам, честные и смелые, / Своих

голов! // Они растопчут нивы золотистые, / Они разроют кладбище тенистое, / Потом развяжет их уста нечистые / Кровавый хмель! // Они ворвутся в избы почернелые, / Зажгут пожар — хмельные, озверелые... / Не остановят их седины старца белые, / Ни детский плач! // Среди лесов, унылых и заброшенных, / Мы оставляем хлеб в полях нескошенным. / Мы ждем гостей незваных и непрошенных, / Своих детей!» (1906).

На протяжении стихотворения происходит «нагнетание» ощущения непроявленного присутствия в нем некоего действительно здесь подразумеваемого, но прямо не называемого и чувственно не явленного предмета, всецело определяющего конечный смысл стихотворения, т.е. его *реального интенционального объекта*. Этот предощущаемый и реально «главный» интенциональный объект прямо семантически облачается только в последней строчке («*своих детей*»), до этого получая только разного рода косвенные обозначения — несущие значимый смысл, но не вскрывающие действительную конститутивную для смысла стихотворения роль реального интенционального объекта. Мы понимаем, что ожидаются «гости», которые *растопчут нивы золотистые, разроют кладбище тенистое, ворвутся в избы почернелые, Зажгут пожар* и т.д., и это получаемое и обогащаемое по мере развертывания стихотворения знание о гостях дает нам представление о многих свойствах ожидаемых гостей, но не о главном из них: о том, что эти «гости» — наши дети. Именно этот смысловой момент является ядром интенционального объекта стихотворения: появляясь в конце, он действует как удар хлыста, а это значит, что до сих пор интенциональный объект в стихотворении не был дан и не был понимаем. Выход на реальный интенциональный объект обратным светом по-новому освещает все предыдущее понимание, т. е. придает прямо разворачивающемуся пониманию своего рода *обратную смысловую перспективу* (об использованных в этом стихотворении других приемах будет говориться ниже). То, что Мандельштам использует здесь органику языка, в котором интенциональный объект всякого сколько-нибудь протяженного дискурса крайне редко дается в прямой семантической форме (именуется в позиции синтаксического субъекта в именительном падеже), мне представляется не требующим комментария. Как и то, что и прямо не называемый интенциональный объект тем не менее постоянно имеется в виду в модусе подразумеваемого, так что каждый вводимый новый смысл о предметах, попадающих в интенциональный фокус, так или иначе косвенно дает об этом объекте сведения, в том числе и «прямого» свойства. Без смысловых моментов, предшествующих в данном стихотворении прямому семантическому именованию интенционального объекта («*свои дети*»), мы не поняли бы второй его существенной и конститутивной — «негативной» — компоненты (характер «детей» и образ их ожидаемых действий). Выход на полное схватывание интенционального объекта осуществляется при таком понимании не только через его прямое именование, т.е. не только через номинативную силу языка, но и с опорой на процессуальность дискурса. Само по себе лексическое значение именной группы «*своих детей*» не несет всего того смысла, который вкладывается в нее данным стихотворением, этот реально здесь имеющийся дополнительный смысл наслаивается на словарный за счет постоянного скольжения речи по сменяющимся интенциональным фокусам, которые и бросают на него свои смысловые отсветы.

Еще один значимый момент. Последняя строчка Мандельштама семантизует ответ на нагнетавшийся вопрос, который в синтаксически-субъектном плане раздваивался: *кто придет?* — «*мы*» ждем кого? Ответ на первый вопрос был бы дан в прямой перспективе в том случае, если он был именован интенционального объекта, поданным в позиции субъекта. Этого не происходит. Мандельштам дает ответ на второй вопрос, и дает его именованьем в позиции дополнения, что *не снижает, а усиливает* смысловой эффект от семантизации интенционального объекта. Если мы произведем мысленный эксперимент, построив вместо мандельштамовской иную синтаксически-композиционную конструкцию, где был бы дан ответ на первый вопрос, и при этом в позиции синтаксического субъекта (по типу «*наши дети придут*»), то, как представляется, с очевидностью ощутим, что смысл наконец названного интенционального объекта утратит нечто значительное, не говоря уже об утрате напряженности поиска ответа, разрешающейся «вспышкой понимания», благодаря которой все пройденные вехи предстают перед нами в новом свете и в непривычной — аналогичной обратной — перспективе. Существенно также, что в данном случае «*мы*» не менее значимо,

чем «дети», поскольку действительный главный интенциональный объект совокупен – не просто «дети», а «*наши дети*».

Итак, истинным интенциональным предметом данного стихотворения можно считать «наших детей», поскольку же это именование появляется лишь в самом конце, постольку в ФВ (в текущий горизонтальный аттенциональный фокус) попадают другие предметности. В ФВ помещаются, во-первых, косвенно предварения «своих детей» («гости» и местоимение «они»), а также другие имена, на которые по формально-синтаксическим основаниям перенаправляется в разные моменты текущий фокус внимания — *леса, хлеб, мы, колосья, нивы, честные и смелые («люди»), кровавый хмель, пожар, седины старца, детский плач* и т.д. Прием смены фокуса внимания, насыщающий интенциональный объект дополнительными смыслами, процессуален по самой своей природе.

Интенция, таким образом, может, как и говорилось выше, принципиально не совпадать с аттенцией — как по существу (смысл, телеология и пр.), так и по многим внешним параметрам, в том числе и по *параметру чувственной явленности*. Можно, в частности, усмотреть своеобразную *симметрическую асимметрию*: чувственная сторона слова несомненно играет значимую роль, но не столько интенциональную (как это часто понимают при толковании тезиса о метафизической значимости телесной оболочки слова, непосредственно связываемого с сущностью, т.е., в нашем контексте, — с *объектом интенции*), сколько *аттенциональную* (т.е. связанную с управлением конкретно-частными процессами перемещения внимания по ходу движения дискурса). Хотя перемещение внимания — вещь чрезвычайно важная в языке (без него невозможно развёртывание дискурса), но это совсем другой вопрос, чем вопрос о языковом схватывании предмета речи и/или сущности в имени или предложении. Перемещение внимания действительно можно осуществлять только при помощи чувственных меток, реальный же *интенциональный объект* — формулирую намеренно радикальное утверждение — *часто «локализован» в подразумеваемой сфере*, которая *семантически* (через внешние формы языка), а потому и *чувственно, никак не означивается*. Языковой прием ретардации (оттягивания) именованного интенционального объекта или его опущения (оставления в сфере подразумеваемого) аналогичен отмечаемому Флоренским иконописному приему *указания на невидимое посредством видимого*, что происходит, в частности, при разделке, указывающей сменой цвета на невидимые, но активные в иконе метафизические оси.

Данный прием осуществим только в текстоцентрической области, так что в выдвинутом тезисе не оспаривается утверждение Флоренского о том, что словесное облачение смысла, фокусирование внимания на его именовании есть исходный пункт развёртывания мысли («*Имя и есть фокус нашей мысли*»). Да, процесс именованного постоянно происходит — в *мышлении и логике, включая логику феноменологическую* (известную Флоренскому, читавшему Гуссерля), но этот процесс отличается от процесса продуцирования речи. Одно дело — использование имени и слова, вплоть до термин, в качестве приема, позволяющего сфокусировать внимание на акте *выбора* «предмета» мысли (способного в дальнейшем стать «действующим лицом» высказывания, в том числе главным) из до-словесных и до-дискурсивных смысловых объектов; такое *именование*, подобное вспыхиванию первослова и *свершающееся «еще» вне дискурса*, выполняет функцию первотолчка к порождению высказывания. Другое дело — имена в порождаемом и понимаемом дискурсе. Ведь вся выстроенная речь состоит из слов, в немалой степени из имен, но очевидно, что не каждое из них фокусирует для мышления свой особый интенциональный предмет и даже не каждое попадает в аттенциональный фокус, хотя фокусов внимания в высказывании много, поскольку он постоянно сменяется по мере развёртывания дискурса. Для лингвистики проблема в том и состоит, чтобы вычленив в словесном дискурсе на материале того или иного его фрагмента *чувственно воспринимаемые приемы* фокусирования внимания (т.е. приемы аттенциональных перемещений). Определение же и обоснование интенционального объекта, который чувственно не выражен, является для лингвистики неправомерной (не вполне научной) задачей; для феноменологии же, напротив,

постановка такой задачи — найти способы выявления интенционального объекта — представляется первостепенной, вполне правомерной и научно обоснованной.

Поскольку процесс перемещения аттенции (фокусов внимания) тоже далеко не всегда нагляден с очевидностью, не всегда дан с безусловно узнаваемой чувственной меткой, и здесь имеется поле для разночтений: лингвистика вынуждена изобретать для фиксации фокусов внимания специальные, более или менее точные «приборы», позволяющие улавливать соответствующие чувственные маркеры хотя бы опосредованно. Что же касается интенциональных объектов, то они в большинстве случаев их опущения такому косвенному схватыванию (и вообще чувственному улавливанию) не поддаются. Они (совершенно в духе Флоренского) непосредственно понимаются без чувственного обозначения, т.е. оказываются сродни тому *непосредственному пониманию* (уразумению, умозрению — умному видению), которое у Флоренского служит нечувственным языковым аналогом изобразительного (и при этом чувственно воспринимаемого) приема *разделки*.

Процессы фокусирования внимания и его смещений в дискурсе и проблемы, связанные с узнаванием «главного» интенционального предмета и трактовкой происходящих с ним событий, концептуально, таким образом, разобщены. Разумеется, аттенциональный по своей природе фокус внимания может совпасть с интенциональным предметом, но внутри каждого протяженного дискурса это — редкость, говорящая об особом акцентировании данного фрагмента (как в случае «своих детей»), а не обычное дело, не норма. Вместе с тем сменяемые предметы аттенции, как мы видели, далеко не безразличны для объекта интенции, поскольку второй «пользуется» первыми: интенциональный объект, остающийся в области подразумеваемого, косвенно и/или ретроспективно (в режиме обратного дискурса) насыщается смыслом за счет аттенциональных фокусов и их смен. Фактически каждый интенциональный объект насыщается по ходу дискурса смысловыми деталями и феноменологически усматривается сквозь свои постоянно обновляющиеся профили и модальности не за счет своего собственного попадания в фокус, а, напротив, — за счет других аттенционально акцентированных предметов, т.е. за счет совокупности косвенных объектных рефлексов и отблесков, попеременно падающих на него со стороны постоянно сменяющихся предметностей, попадающих в фокус внимания (нескошенные поля, разрытые кладбища и т.д.). Органичная форма существования интенционального предмета в языке — не нахождение в фокусе внимания, а пребывание в области подразумеваемого, подразумеваемое же — это то, что передается в речи не в прямой номинации, а в своего рода обратной перспективе, точнее — в разного рода наложениях и совмещениях перспектив, фокусов внимания и других процессуальных феноменов сознания, задействованных при говорении и понимании.

Интересно, что схожая возможность совмещения и наложения усматривалась и Флоренским, причем применительно к живописи. Имеется в виду то *совмещение прямой и обратной перспективы*, о котором Флоренский говорил применительно к классическим образцам, в частности, о случаях равновесия перспективного и неперспективного начал у Рафаэля (Флоренский 1996).

Помимо описанного случай оттянутого именованного интенционального объекта в языке возможны и другие варианты игры аттенции и интенции, опишу некоторые из базовых случаев.

15. Другие варианты игры аттенции и интенции. Обратными по отношению к рассмотренному в стихотворении Мандельштама приему являются случаи, в которых имя главного интенционального объекта может быть известно с самого начала, но по ходу дискурсивного развертывания оно дается в перебивчивом совмещении планов и перспектив. Данное сразу имя может уходить затем в тень — временно или «навсегда», появляться вскользь снова и снова в качестве объекта для бокового схватывания в разных семантических облачениях: в форме синонимических рядов или тропированных речевых фигур, а может и

вовсе не появляться вновь и т. д. Но тем не менее это имя продолжает «руководить» процессом понимания (соответствующий пример — из поэзии Б. Пастернака — будет приведен ниже).

Возможны, как известно, и *нулевые* случаи, когда имя интенционального объекта вообще не всплывает на семантическую поверхность — ни в начале, ни в конце дискурса, но все регулятивные силы высказывания направлены на схватывание (понимание) слушающим этого неименованного главного объекта. Таков по своим приемам, в частности, *ассоциативный символизм* в его толковании Вяч. Ивановым. Согласно этому толкованию, автор подобного дискурса предпочитает при описании того или иного (всем известного и вполне земного) предмета не называть его имя прямо и сразу, но навеять читателю череду ассоциативных представлений, совокупность которых позволила бы — при угадывании подразумеваемого имени — с особой, обновленной силой воспринять этот не названный предмет. Вот знаменитый пример ассоциативного символизма из И. Анненского (стихотворение «Идеал»), приводимый самим Вяч. Ивановым:

«Тупые звуки вспыхек газа / Над мертвой яркостью голов, / И скуки черная зараза / От покидаемых столов... / И там, среди зеленолицых, / Тоску привычки затая, / Решать на выцветших страницах / Постылый ребус бытия!»

Сначала приведу комментарий Вяч. Иванова: «*Это — библиотечная зала (не названный интенциональный объект – Л.Г.), посетители которой уже редуют в сумеречный час, когда зажигаются, тупо вспыхивая, газовые лампы, между тем как самые прилежные ревнителы и ремесленники «Идеала» трудолюбиво остаются за своими томами. Простой смысл этого стихотворения, разгадка его ребуса (а ребус он потому, что вся жизнь — «постылый ребус») — публичная библиотека; далекий смысл и «causa finalis», — новая загадка, прозреваемая в разгаданном, — загадка разорванности идеала и воплощения и невозможность найти ratio gerit в самих res: в одних только отражениях духа, творчески скомпонованных человеческою мыслью, когда-то горевших в духе, ныне похороненных, как мумии, в пыльных фолиантах, приоткрывается она, тайна Исиды, — и приоткрывается ли еще?...»* (Вяч. Иванов 1974, с. 574-575).

В нашем контексте следует отметить дополнительные детали. До того, как в читателе вспыхивает искра понимания интенционального объекта этого стихотворения, оно кажется малоосмысленным, когда же и если понимание пришло, стихотворение буквально на глазах смыслом переполняется. Здесь следует учитывать и своего рода главный *предикат* к так и не названному интенциональному объекту. Этот главный модально-экспрессивный предикат дан в заглавии: проведение времени в библиотечной зале – мыслимый (кем-то) *идеал*. Фактически мы восстанавливаем тем самым полностью здесь опущенный двусоставный предикативный акт, т.е. ядро процессуального смысла этого стихотворения. С частичными аналогами приемов из этого стихотворения мы встретимся ниже при анализе стихотворений Фета и Пастернака, в которых скрытые формы процессуального смысла также завязаны в том числе и на разного рода иргу с предикативными актами.

При разгадывании первого и добавлении к нему второго из этих моментов (субъекта и предиката) мы начинаем слышать здесь в том числе и иронию (это обстоятельство отмечено в комментарии Вяч.Иванова), которую вовсе до того не ощущали. Там же где ирония, там двуголосое слово, которое также является разновидностью скрытого процессуального смысла (см. ниже одноименный параграф).

Возможен в речи и принципиально другой случай: не опущение единственного интенционального объекта, а наличие нескольких (чаще — двух) «главных» интенциональных объектов, не только согласованных и сопокупных (как в примере с *нашими детьми* из Мандельштама), но и противопоставленных, в результате чего возникающее между ними смысловое напряжение (ощущаемое в том числе и за счет игры с аттенциональными фокусами) подключает к восприятию глубинные, не семантизированные содержания, которые производят

кумулятивный эффект «прозрения» подлинного интенционального объекта и его смысла. Один из двух «навеянных» таким образом интенциональных объектов может оставаться не семантизованным, но оказаться действенным не менее второго, поскольку результирующая смысловая искра рождается именно при их контрастном взаимодействии.

Без претензий на серьезный анализ приведу в качестве примера последнего случая еще одно стихотворение Мандельштама:

«Как светотени мученик Рембрандт, / Я глубоко ушел в немеющее время, / И резкость моего горящего ребра / Не охраняется ни сторожами теми, / Ни этим воином, что под грозою спят. / Простишь ли ты меня, великолепный брат, / И мастер и отец черно-зеленой теми, - / Но око соколиного пера / И жаркие ларцы у полночи в гареме / Смущают не к добру, смущают без добра / Мехами сумрака взволнованное племя».

Здесь картина Рембрандта, являющаяся базовым интенциональным предметом, не названа (понятно только, что речь идет о Распятии), но именно она фундирует все высказывание, будучи необходимым условием (базовым фоном) для его понимания. Второй прикровенный, но, напротив, названный интенциональный объект здесь — это *светотень* (именование этого объекта дано однажды — вскользь, в позиции дополнения, но в самом начале). Результирующая смысловая искра рождается между ними — между картиной (картинами) Рембрандта и светотенью.

Напомню, что Флоренский — как и условный лирический субъект данного стихотворения — также критически относился к светотени как живописному приему. Мастерство в применении этого приема (часто ассоциируемое с Рембрандтом и толкуемое при этом как установка на психологизм, за которым усматривается субъективизм) и, соответственно, сами светотени, по Мандельштаму, *«смущают не к добру, смущают без добра»* (таково одно из возможных толкований стихотворения). У Флоренского читаем: *«Единством перспективы художник хочет выразить единственность зрителя, как предмета, а единством светотени — предметность источника света. Мне хорошо понятна позитивистически-уравнительная задача этой живописи: для нее нет иерархии бытия, и озаряющий свет, равно как и созерцающий дух, она хочет отождествить с внешними предметами, укладывая их в одной плоскости условного...»* (Флоренский 1996). Возможность такого толкования тем вероятней, что, по свидетельству Н.Я. Мандельштам, О. Мандельштам читал Флоренского (*Мандельштам Надежда*, с. 89).

Если развить интерпретацию этой результирующей смысловой искры в философском направлении, то можно говорить, что здесь возникает напряжение между сюжетом картины (сценой Распятия, отдаленной по времени, или, точнее, «всевременной», из «немеющего времени», т.е. не подлежащей чувственному восприятию) и избранной *формой* (творческим методом) изображения (субъективно-иллюзорной, злоупотребляющей светотенью и тем самым вводящей в соблазн). В стихотворении Мандельштама и то, и другое (сюжет Распятия и светотень) являются интенциональными объектами.

16. Некоторые положения резюмирующего характера. Дискурсивные константы. Зафиксирую некоторые из намеченных выше закономерностей.

Я думаю, что способность языка насыщать восприятие интенционального объекта, не делая его аттенциональным фокусом, можно расценивать как свидетельство отмечавшейся Флоренским глубинной несхожести языка как слышания (слуха) с изобразительным языком как видением (зрением). В зрении наоборот: интенционально значимое стремится к получению чувственно-зримого облачения. При этом маршрут аттенциональных перемещений наблюдающего взгляда по изображению — в отличие от языкового дискурса — чувственно в

объекте созерцания не означен, он индивидуально свободен, в то время как в словесном дискурсе аттенциональный маршрут понимающего сознания читателя, напротив, в значительной мере принудителен (детерминируем последовательностью смен ФВ).

Последнее положение можно зафиксировать как константу: 1) процессуальная подоснова дискурса в форме последовательных смен ФВ есть неотмысливаемая языковая универсалия.

На основе сказанного выше можно предположительно наметить еще три константы, связанные со спецификой «поведения» в языковом дискурсе чувственных маркеров разных явлений.

2) Фиксированный аттенциональный фокус есть неперенное свойство каждого синтаксического фрагмента дискурса;

3) Все без исключения аттенциональные фокусы отмечены, в зависимости от степени их проявленности, более или менее осязаемыми чувственными маркерами, в то время как регулярных чувственных показателей интенционального фокуса не существует. *Интенциональный объект чувственно помечается в дискурсе если и тогда, если и когда он по логике дискурса попадает в данный момент развертывания речи в ее аттенциональный фокус* (т.е. когда аттенциональный и интенциональный фокусы совпадают, что для протяженных дискурсов довольно редкое явление).

4) И, наконец: из неотмысливаемой универсальности ФВ и перманентных смен попавших в него предметностей следует *универсальность процессуального аспекта словесного дискурса*.

17. Еще один антиномический слой: план выражения/план содержания. Как известно, в лингвистике до сих пор нет консенсуса относительно смысла противопоставления номинативность/процессуальность. На основе идей Флоренского выявляется дополнительный, связанный с кругом вопросов о чувственной стороне языка, параметр, который, на мой взгляд, может быть вовлечен в контекст этих споров. Чтобы наглядней показать это вовлечение, расширим контекст рассмотрения, вычленив в рассуждениях Флоренского очередной антиномический виток, а именно — инотерминированный аналог активной в лингвистике со времен Э. Сепира антиномии *план содержания / план выражения*. Вопрос и здесь состоит в том, какой из указанных языковых полюсов занимает в языке доминирующее положение. Позицию Флоренского можно толковать как примыкающую в решении этого вопроса — вопреки ожиданиям — к лагерю, утверждающему доминирование плана содержания над планом выражения. Сам Флоренский, несомненно, имел в виду нечто в этом роде, хотя именно такого, закрепившегося в лингвистике словесного выражения (соотношение планов содержания и выражения) эта тема в его время еще не имела. Скорее всего она была тогда локализована внутри проблемы соотношения мышления и языка: примат мышления — аналог примата плана содержания, примат языка — аналог примата плана выражения.

Изложу вкратце одно из наиболее распространенных противоположных толкований, ставящих во главу угла не план содержания, а план выражения. Сама проблема соотношения планов содержания и выражения в таких концепциях чаще всего не ставится, — потому что не усматривается никакой дилеммы в соотношении этих планов, педалируется же дихотомия номинативность/процессуальность. При этом предполагается, что именование фиксирует статичный объект, акцентируя верховенство *субстанции* и вещи, в то время как глаголы в их различных формах фиксируют *процессуальность* (напомню о дихотомии вещи и пространства у Флоренского).

Спрашивается, к чему относится субстанциальность в одном случае и процессуальность в другом? Субстанциальность\процессуальность — *чего?* В описываемой (противоположной взглядам Флоренского) версии трактовки этой темы часто имеется в виду, как известно, субстанциальность и процессуальность *референта*, т.е. самого мира (примерно так, согласно оспариваемому здесь расхожему мнению, должен был понимать дело и Флоренский). Считается, что «мир» толкуется в разных языках в соответствии с их установкой — как совокупность прежде всего либо вещей, либо процессов, к которым противоположные свойства присовокупляются в качестве акциденций. Считается также, что приоритетные для каждого данного языка установки — либо на имена существительные (прилагательные), либо на глаголы — формируют соответствующие, субстанциальные или процессуальные, «языковые картины мира». Хотя проблема соотношения планов выражения и содержания здесь ставится не всегда, тем не менее ясно, что, поскольку анализ ведется с опорой на *чувственно маркированное различие частей речи* (имен и глаголов), постольку в качестве доминирующего здесь принят план выражения. В целом этот подход, следовательно, можно оценивать как основанный на *словоцентризме* (или лексикоцентризме).

Флоренский, будучи, с предлагаемой точки зрения, «смысловиком», имел в виду иное: номинативность и процессуальность, как мы видели, мыслились в его версии имеславия (вопреки распространенному толкованию) как относящиеся не к референту и миру (или сущности), а к *мыслительному процессу* и, далее — через него — к процессу *порождения речи*. Природа внеположного референта может быть при этом какой угодно, она здесь не тематизируется (этот вопрос для Флоренского из другой сферы). Иными словами, акцентируемые понятия субстанции и процесса перенесены здесь из сферы референтов в область смысла, который по этому параметру может как соответствовать миру референтов, так и не соответствовать, подвергая его трансформации.

Разумеется, сразу встает вопрос: а как же понятие сущности и ее энергии, которые, будучи аналогичны референтам, должны, казалось бы, пониматься как источник номинативности и процессуальности? Конечно, эта дихотомия играет фундирующую роль в имеславии, но вместе с тем у Флоренского между языком, с одной стороны, и сущностью и энергией, с другой, стоит мир смыслов. Имеславская сущность именно что не референт: процесс ее именованья не есть процесс референции. Природа сущности (в понимании имеславцев) такова, что она сама себя транспонирует — через самоименование — в смысловую сферу. Дихотомия сущность/энергия детерминирует при таком понимании не язык, а мысль, и уже через нее — вторым темпом — оказывает воздействие на язык. Во многих приведенных выше высказываниях Флоренского такое — *не референтное* — понимание выступает с очевидностью. Между референтом и языком стоят, напомним, разного рода пространства — не только психофизиологические, но и смысловое (мысленная ткань-текстура), эстетическое и т.д. Напомним также, что процессуальность усматривалась Флоренским именно в дискурсе, который, в свою очередь, рассматривался как языковое выражение процессов мышлеобразования («мысленных, мыслительных струй кипенье, ... мысль в ее рождении, — обладающая тут наибольшей кипучестью, но не пробившая еще себе определенного русла... Строение такой мысленной ткани — не линейное, не цепью, а сетчатое, с бесчисленными узлами отдельных мыслей попарно» и т. д. — Флоренский 1990, с. 26). По своему типу эта акцентируемое Флоренским языковое выражение мира есть не референция, а дескрипция (*описание*), т.е. *процесс последовательных предикаций* с — добавлю — закономерно сменяемым *фокусом внимания*. Все это, как мы видели, не противоречит имеславскому тезису об адекватности: последняя достигается не изолированными лексемами, а текстом в целом.

18. Проблема феноменологической наглядности референта как языкового смысла.

Существенные детали вопроса о смысловой или предметной природе референта и о его решении Флоренским в пользу смысла проясняются на фоне еще одной значимой антиномии, которая может быть сформулирована как проблема наличия/отсутствия *наглядности* значения

слов. Речь идет о *феноменологическом созерцании* — о том, схватываем ли мы при понимании слов сам *предмет*, «видим» ли его на феноменологическом экране сознания, или наше созерцание в таких случаях в предметном отношении пусто. Очевидно, что утверждение наглядности предмета слов коррелирует с утверждением максимальной значимости их чувственной плоти (ибо такой *предмет* несомненно «привязан» к этой плоти), тезис же о снижении значимости чувственного облика слов предполагает и снижение степени наглядности предмета (вместе с параллельно идущим повышением статуса собственно смысловой ипостаси этого предмета и весомости процессуальной формы смысла).

Проблема не из простых. Она до сих пор остается камнем преткновения в феноменологических версиях языка. Здесь, в частности, продолжает дискутироваться поставленная Гуссерлем и унаследованная Хайдеггером проблема пустых сигнитивных (вариант: сигнификативных) актов (т.е. актов с семантикой, но без предмета) и связанный с ней вопрос о том, входит ли восприятие языковых форм в число способов непосредственной феноменологической данности предмета. Если семантические акты признаются предметно пустыми, то встает проблема возможности или невозможности (а также нужности/ненужности) достижения предметного наполнения таких пустых восприятий. А значит, встает и проблема выявления и обоснования способов, с помощью которых можно добиться схватывания таких предметностей не косвенно, а «вживе». Конечно, речь никак не идет о том, чтобы каждое употребленное имя вызывало наглядное предметное представление; речь идет о возможности/невозможности (и/или необходимости/факультативности) наглядного означивания центрального *интенционального объекта* (интенциональной предметности).

Что касается Флоренского, то, согласно предлагаемой интерпретации его взглядов, по ходу поэтапного снижения значимости чувственного облика слов в его учении формируется, скорее всего, вывод, что в языке — как основанном на слухе, а не на зрении — интенциональный предмет не обязательно требует наглядности, органичной для зрительного восприятия. Не случайно беглое чтение проскакивает (не обращая на нее внимания) даже налично-данную в именах наглядность, многие же другие слова (не имена, а, напр., союзы и союзные слова — «когда», «если» и пр.), как и некоторые имена (напр., «самоотверженность») таковой в принципе не обладают.

При сопоставлении позиции Флоренского с феноменологическим подходом напрашивается предположение, что Флоренский мог полностью отрицать в языковом дискурсе наличие проявленно-наглядного интенционального объекта, в том числе и как такого, который «родом из зрения». Так, обосновывая отличие зрительного пространства от физического, Флоренский говорит, что первое в отличие от второго не беспредельно. Зрительное пространство *«по самому существу всегда не беспредельно, ибо оно определяется впечатлениями зрительными, а таковые возможны, лишь когда взор упирается в некоторый зримый предмет; этот предмет бывает пределом всех проведенных к нему из глаза прямолинейных лучей зрения»* (Флоренский 2000б - <http://prometa.ru/projects/ecognito/1/3>).

Из этого весьма показательного фрагмента следует, что зрение видит свой предмет, по Флоренскому, примерно так, как, по мнению критиков, имеславцы толкуют свою прямо именуемую сущность. Но суть дела в том, что речь здесь идет у Флоренского о вещи в прямой перспективе (поскольку говорится о прямолинейных лучах), из чего можно заключить, что толкование имени как предела понимаемости (в идеале — как самой сущности) относится лишь к видению в прямой перспективе. При разработке же идеи обратной перспективы Флоренский должен был от такого понимания отказаться. И отказался, фактически снизив значимость языковой плоти имени до крайнего предела, если не до нуля: вместе со снижением статуса чувственных аспектов языка происходит и интересующий нас сдвиг в понимании предмета имени — с *«вещи»* на *смысл*.

К одному из аналогичных фрагментов Флоренского относится следующий комментарий О. И. Генисаретского: *«Эта констатация П.А. Флоренского по сути дела означает, что*

выдвинутое феноменологической философией понятие интенции, как направленности всякого акта сознания на предмет, имеет своим истоком именно упирающееся в предмет зрительное восприятие. Уже для аудиальной модальности восприятия и сознания применимость подобного понимания интенции весьма ограничена. Еще сильнее подобное ограничение для прочих сенсорных модальностей» (<http://knigi.link/sochineniya-florenskiy/znachenie-prostranstvennosti-7447.html>) Интерпретация Генисаретского суггестивна: за ней просматриваются возможности самых разных смысловых ходов. В частности, вырисовывается тезис о беспредельности аудиальной модальности восприятия, а значит — и о беспредельности пространства языкового сознания. В конечном итоге это ведет не только к идее ненаглядности предмета высказывания (он воспринимается иначе), но и к идее принципиальной беспредметности в чувственном смысле — или, точнее, *непредметности* — языковой интенции. На место способного к чувственной данности предмета в словесном дискурсе как раз и вступает смысл; иными словами, именно смысл как смысл предмета, а не сам предмет полагается объектом интенции. В этом контексте в последнее время, как известно, остро дискутируются такие понятия, как «непредметный смысл» или «непредметный объект интенции». Такое толкование вписывается в одно из современных пониманий смысла как принципиально динамической континуальности с лишь на мгновения вспыхивающими виртуальными предметностями (см. С. Хоружий — <http://litread.me/pages/236945/295000-296000>).

Флоренский шел к подобному пониманию более традиционными путями: он делал ставку на *умное видение* и/или *духовное зрение*, которое «видит» иначе, чем чувственное зрение, и само способно привести к тезису о смысловой природе референта. По сути здесь заново воспроизводится классическая дилемма: чувственному зрению (сенсуализм) противопоставляется созерцание идеи (платонизм). Флоренскому близка платоническая позиция, но проблема в том, как понимается сама платоническая идея. Поскольку в ее толковании до сих пор нет единства, интерпретация Флоренского (как и многих других «платоников») нуждается в дальнейших уточнениях.

С предлагаемой точки зрения, *идея* в понимании Флоренского не есть внешний предел, в который упираются прямонаправленные лучи умного видения, она мыслится как конституируемое (собираемое или, в лосевской терминологии, выработанной как раз применительно к платоновской идееⁱⁱ, *интегрируемое*) адекватное представление о предмете в результирующем акте умного созерцания. Именно в силу ее интегративной природы (настойчиво подчеркивавшейся Лосевым) идею в понимании Флоренского можно истолковать одновременно и как нечто вертикально многослойное, и как нечто способное горизонтально расслаиваться, прокладывая в воспринимающем сознании разные энергетические векторы-маршруты (о вертикальной многослойности семемы в понимании Флоренского и ее линейном раскручивании в дискурсе говорилось выше).

Аналогичным образом функционирует у Флоренского (согласно предлагаемой интерпретации) и *языковая предметность*: она не предстает перед умом «готовой», а конституируется сознанием, собирается им в процессе понимания. Необязательность для объекта языковой интенции предметной наглядности в духе зрительного восприятия, *пустота языковой интенции* в этом — предметном — отношении никак не мешает интенции обеспечивать должную конкретность, но это конкретность иного рода: не зрительная и не вещественная, а — *смысловая*. Иными словами, Флоренский утверждает за интенциональным объектом *смысловую природу*, или *смысловую предметность*. Смысл тоже может определенным образом созерцаться (в так называемом «духовном зрении»), но для Флоренского это (как было показано выше) — принципиально иное созерцание, связанное с платоновской традицией и сближенное с активным у Флоренского непосредственным пониманием.

Амбивалентное понятие чисто смысловой предметности языковой интенции относится к числу наиболее широко обсуждаемых сегодня концептов (иногда — в форме тезиса о

беспредметности смысла). Но Флоренский не был в этом отношении одинок и в начале XX века. Напомню, в частности, аналогичную идею Шпета: если Гуссерль (высоко ценимый Шпетом) оценивал язык – в его естественной текучести и спонтанности – «пренебрежительно», как предметно *непродуктивный*, но *только* репрезентирующий предметность слой выражения (тема пустых языковых восприятий активно разрабатывалась — видимо, под влиянием Гуссерля — и у Хайдеггераⁱⁱⁱ), то Шпет оспаривал характерный для «классической» феноменологии тезис о необходимости вживе наглядного наполнения/исполнения пустой языковой интенции, утверждая способность языка и без такового наполнения передавать особую — и не менее реальную — смысловую предметность, каковой у Шпета признается в «Явлении и смысле» *предметность социальная*. «Социальные предметы», утверждает здесь Шпет, обладают своей особенной – иной – формой данности, которой Шпет придает те же, что у Гуссерля, конститутивные квалификации: это прежде всего — «*данность*” с очевидностью предметной объективности», или данность «*вживе*». По Шпету, семантика языка «дает» сознанию социальную предметность непосредственно, первично и вживе (не репрезентативно, а презентативно). «*В естественной установке вещи постоянно выступают перед нами как знаки... и со своим внутренним интимным смыслом... Но мы его не видим, не слышим, не осязаем, а "знаем" все-таки*» — такова, в частности, энтелехия слов, напр., «секира». (Шпет — <http://lib.co.ua/philosophy/shpetgg/javlenieismysl.jsp>). Аналогична, но со своей авторской сверхзадачей, и позиция по этому вопросу позднего Лосева, развитая в его теории сигнификативных актов (Лосев, 1983, Раздел IX. С.144–178).

19. Смысл, предмет и значение. Можно в итоге зафиксировать, что определение номинативного и процессуального аспектов языка производится в теории Флоренского, как и в большинстве концепций, примыкающих к лагерю «доминирования в языке плана содержания над планом выражения» (Э. Сепир, А. Вежбицкая, Ю.Д.Апресян, П.Серио, ядро теории «смысл — текст» И. А. Мельчука, А. К. Жолковского и др.), не по типу понимания референта (мира), а *по типу выражаемого смысла* -- либо именованного и семантизованного, либо в принципе неименоваемого и несемантизуемого. Первый – преимущественно номинативный (именной), второй — преимущественно процессуальный. Процессуальность не свойство языка (скажем, как системы), а «дар» дискурса, который в свою очередь унаследовал ее от мысленного пространства и происходящих в нем процессов, проявляющихся в дискурсе в трансформированной форме. Отсюда: каким бы ни был ее генезис, не исключая и прямой зависимости от сущности, в язык процессуальность проникает из дискурса, т.е. из форм реального функционирования языка и форм реализации мысли/смысла. Мир трансцендентен такому понимаю дела. С этой точки зрения, между *домом* и *ходить*, как изолированными лексемами, нет принципиального различия: дело можно толковать так, что *обе эти лексемы, как лексемы-в-себе, не процессуальны, а номинативны*. Процессуальность проявляется в языке не по причине наличия в нем глаголов и отглагольных имен, а вследствие связи языковых реалий с процессами мышления и порождения речи. Ведь не выделяем же мы на основе факта наличия наречий особого «наречного» типа референтов, во всяком случае — не вносим «наречность» в сущность. Мы можем выделять на этом основании только — условно говоря — «наречную» разновидность смысла.

Сказанное означает помимо прочего, что Флоренский, анализируя структуру мыслительной сферы, в очередной раз пришел к выводам, противоречащим расхожим представлениям об имяславии, но предвосхищающим некоторые актуальные современные идеи, в частности, тезис о том, что смысл и значение (семантика) — не одно и то же. Если в мейнстриме тенденции, утверждающей примат плана содержания (к которой может быть причислен Флоренский), долгое время было принято понимать этот план как семантический в исходном узком смысле слова (фактически только в аспекте лексической семантики), то Флоренский изначально толковал ситуацию шире: смысл может быть не только семантически выраженным, но и *не облаченным в семантические одежды*. По сути дела даже смысл элементарного предикативного акта семантически не выражен: мы видим имя и глагол, а также

их согласование, но их предикативное отношение мы не видим, а «только» понимаем. В начале XX века такого рода позиция поддерживалась многими философами-метафизиками и филологами-«смысловиками», но в собственно лингвистической области аналогичная позиция получила серьезное обоснование значительно позже. В России ее отстаивает, в частности, Ю.Д. Апресян, по мнению которого особенность развития семантических теорий в конце XX века (Флоренский занимался этим в начале века) состоит в *расширении* объекта семантики, поскольку в это время к ней стали причислять «любые языковые значения, т.е. значения лексем, граммем, дериватем, синтаксических конструкций и т.д.» (Апресян 1999, с. 45). К ноэтической сфере, трактуемой здесь как несемантизуемая в рамках исходного узкого значения термина семантика, из этого списка относятся, как минимум, синтаксические конструкции (которые и у Апресяна скорее всего включают в себя в том числе и предикацию).

Вне дискурса, в их изолированном употреблении слова, в том числе и глаголы, не обладают процессуальными характеристиками и не могут быть предикатами; каждое изолированно взятое слово скорее можно рассматривать как имя (в том числе и изолированный глагол есть в этом плане не что иное, как *имя/понятие процесса*). Согласно такому толкованию, и номинативность и процессуальность суть формы языкового смысла, но формы именно разные и при этом взаимосвязанные: они не могут существовать одна без другой. *В каждом именовании внутри дискурса есть процессуальная составляющая, любой же процессуальный смысл включает в себя компонент именованного* (аналогично слову и предложению в выше приводившейся цитате из Флоренского). Процессуальный смысл как таковой невозможно ни создать, ни понять без номинативного; каждый глагол, включая находящиеся в акцентированной позиции предиката, есть всегда в определенной мере и имя выражаемого им смысла (в *Иван идет сюда* и *Иван, и идет, и сюда* — все словоформы в том числе именуют, передавая тем самым некую неотъемлемую часть смысла высказывания).

20. Аргумент от Флоренского. Сама по себе описанная версия, конечно, не новость для лингвистики, особенно последних десятилетий. Помимо того, что Флоренский указывал на такого рода явления много раньше, следует отметить, что Флоренский выдвигал также и весьма оригинальные идеи. По крайней мере одна из них, на мой взгляд, заслуживает персональной «мемориализации» — под названием, например, «*аргумент от Флоренского*». Изложу резюмирующую формулировку этого «именного» аргумента в наиболее радикальной и бескомпромиссной форме: *если именные (номинативные) смыслы всегда имеют чувственное облачение (маркеры), в том числе при именовании глаголами, то процессуальные смыслы выражаются без их внешней маркировки чувственно воспринимаемыми языковыми средствами.*

Гипотетический компромиссный вариант интерпретации позиции Флоренского мог бы состоять в признании того, что процессуальный смысл может выражаться двояко: как через внешние формы языка, т.е. *через глаголы, отглагольные имена и т.д.*, так и без маркировки; однако, эта гипотетическая уступка, отдающая дань благоразумной осторожности, была бы теоретически сомнительной, если не разрушительной по отношению к идеям Флоренского, так как в ней определяющий ситуацию курсор переводится с процессуально-смысловой и нереферентной формы смысла на природу референта (по типу: глаголы и отглагольные существительные именуют процессы в самом мире, а не смысловые сдвиги в сознании). В любом случае, т.е. даже если учитывать эту уступку осторожности, на первый план следует, по Флоренскому, выдвигать именно не маркируемые процессуальные смыслы, поскольку маркируемые по многим параметрам близки к именованному смыслу и в концептуальной перспективе вполне могут быть с ним объединены (если этого еще не случилось в лингвистике, то по причине ее поворота к предикативной проблематике, которая часто — и, на мой взгляд, неоправданно — тесно увязывается с глагольностью, в то время как предикативную функцию могут, как известно, выполнять и имена, и практически все другие языковые формы). Не маркированные процессуальные смыслы точнее выражают суть языковой процессуальности

как связанной не с трансцендентным, а с трансцендентальным миром — с мыслительными актами и процессами. (Последнее обстоятельство придает «аргументу Флоренского» и философско-антропологическое наполнение: адекватно выйти на трансцендентные процессы сознания можно через анализ процессуальных форм языка). Детерминируемый теми или иными процессами в языковом сознании компонент смысла наличен в каждом высказывании, в том числе — и в каждой предикации (более того, его можно расценить как ядро предикативного акта, который ведь как раз и состоит в фиксации того или иного модального акта: утверждения, описания, вопроса и пр.).

Однако есть и вторая сторона дела: этот универсальный процессуальный компонент доступен пониманию только на фоне именных смыслов, которые в свою очередь неосуществимы без того, чтобы не вызвать к жизни смыслы процессуального порядка (так как любое сочетание слов предполагает некий акт вмыслеобразовании).

Поскольку этот «обоюдный» подход можно трактовать как транспонирование в языковую сферу феноменологического постулата о взаимосвязи в ноэзисе *ноэматических* (номинативно-семантических, т.е. в пределе именных) и *ноэтических* (т.е. синтаксических и синтаксически-процессуальных) форм смысла (в общем плане ноэмы могут ассоциироваться с именами, а ноэсы — с глаголами и предикатами), два описанных типа смысла (именной и немаркированный процессуальный) целесообразно назвать — *ноэматическим* и *ноэтическим*. Как в любом феноменологическом ноэзисе есть ноэма и ноэса, так в каждом дискурсе есть и ноэматический (чувственно зафиксированный лексически семантизованный) пласт смысла, и пласт ноэтический, чувственно (через семантизацию) не зафиксированный. Оба типа смысла тесно коррелируют друг с другом — аналогично тому, как взаимодействуют ноэма и ноэса (разумеется, здесь никак не имеется в виду, что существуют только эти два типа смысла: номенклатура принципиально открыта). Конститутивно значимую (переводящую курсор с природы референта на тип смысла) внешнюю неявленность «чистой» — не именной — разновидности процессуального ноэтического смысла Флоренский подчеркивал, напомним, фактом его непосредственного (вне-семантического) понимания.

Зафиксированная аргументом Флоренского разница между ноэматическим и чистым ноэтически-процессуальным смыслом может быть наглядно пояснена через противопоставление *именования* и *приема*. Именованье, в том числе именованье глаголом или отглагольным существительным подразумеваемого действия, прямо прилагается в своей чувственной форме к островку смысла, *именует* его, каким бы он ни был по своей природе: процессуальным или субстанциальным (мы и воспринимаем его прямо — аналогично изображению предмета); прием же требует некой последовательности мыслительных актов (языкового) сознания, выстраивающихся «вокруг» предмета и приводящих к совокупному эффекту, который можно назвать дополнительным ноэтическим смыслом. Любой троп (метафора, метонимия и т.д.), будучи результатом разного типа семантических сдвигов в актах сознания, содержит в себе этот дополнительный смысловой компонент. При восприятии приема мы (осознанно или — чаще — бессознательно) включаем в состав понимания смысловой эффект от разнообразных *сдвигов*: перемещений фокуса внимания, ментальных, ракурсных, голосовых, эмоциональных, волевых, аксиологических и пр., сдвигов, сопровождающихся опущением ноэм или ноэс, сменой или наложением голосов, психофизиологических состояний и т.д.

Продемонстрирую несколько существенных разновидностей скрытого процессуального смысла на некоторых характерных примерах.

РАЗДЕЛ 3. РАЗНОВИДНОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СМЫСЛА И ПРИЕМЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ.

21. Двуголосие как разновидность скрытого процессуального смысла. В качестве скрытых форм процессуального смысла можно рассматривать многие анализируемые современными теориями лингвистические и дискурсивные явления, например, феномен *двуголосия*. М.Бахтин, как известно, разработал с опорой на двуголосие теорию полифонии. Само двуголосое слово определяется при этом как такая формально единая (одноголая) синтаксическая конструкция, в которой звучат два голоса без внешнего чувственного закрепления одного из голосов. Неявленность смысла — не эпифеномен, а ядро данного явления: все значимые случаи двуголосых конструкций, в которых происходит интерференция энергий двух, а то и трех голосов, остаются семантически и синтаксически невыраженными (скрытыми и, соответственно, *ненаблюдаемыми*). Такова пародия, стилизация, сказ и другие стилевые жанры. Наблюдаемы же, по мысли Бахтина, только простейшие сочленения голосов, построенные по шаблонам прямой и косвенной речи. В этих шаблонных конструкциях никаких дополнительных процессуальных смыслов, связанных с фактом явленного сочетания нескольких голосов, нет, в то время как в двуголосии они составляют значимый слой смысла: воспринимая ту же пародию, мы ощущаем весомый смысловой «довесок» за счет осмысления соотношения двух смысловых позиций, двух голосов — пародируемого и пародирующего. Мне представляется очевидным, что бахтинская программа выявления формально ненаблюдаемых двуголосых конструкций аналогична параметрам, характеризующим скрытые формы процессуального смысла у Флоренского. Более того: полифоническая идея развивалась и Флоренским (раньше Бахтина, в частности, при выявлении параллелей между круглым изложением и гетерофонией русского хорового пения (Флоренский 1990, с. 30-31).

22. Процессуальный смысл безглагольных номинативных дискурсов (смены ФВ и эмоциональные сдвиги). В качестве одного из наиболее выразительных примеров языковых форм выражения поэтических смыслов приведу их реконструкцию на материале безглагольного текста, содержащего только имена существительные и прилагательные. Понятно, что подобные тексты редки (речь идет об известных безглагольных стихотворениях А. Фета), но тем более принципиальным представляется вопрос о наличии (или отсутствии) в них процессуальных смыслов и, в случае положительного ответа, — о «технологии» их выражения.

В теоретическом плане можно (на основании сказанного выше) предположить, что, с предлагаемой здесь точки зрения, в таком дискурсе должна наличествовать, как минимум, та разновидность процессуального смысла, которая связана со сменой фокуса внимания, поскольку этот тип процессуального смысла был причислен выше к категории универсалий. Остается показать, что квалифицированный анализ текстов подтверждает это предположение.

Я имею в виду анализ стихотворений Фета, произведенный М. Л. Гаспаровым в статье «Фет безглагольный». Наличие процессуальных форм смысла в безглагольном дискурсе и их противопоставленность смыслу номинативному проиллюстрированы в ней достаточно наглядно (но, конечно, без принятой здесь терминологии и, тем более, без нашего целеполагания). Приведу некоторые наблюдения и выводы из этой статьи, сопроводив их своими комментариями.

Гаспаров начинает с анализа следующего стихотворения:

| *Чудная картина, / Как ты мне родна: / Белая равнина, / Полная луна, / Свет небес высоких / И блестящий снег / И саней далеких / Одинокий бег.* (<http://sobolev.franklang.ru/index.php/seredina-xix-veka/175-gasparov-m-l-fet-bezglagolnyj>; все последующие цитаты приведены по этому же источнику).

Несмотря на отсутствие глаголов, стихотворение воспринимается как весьма динамичное, причем в описании Гаспарова толкование явственно ощущаемых в нем процессуальных смыслов близко к рассмотренным нами выше языковым феноменам. «*Мы даже не сразу замечаем, — пишет Гаспаров, — что перед нами восемь строк без единого глагола (только восемь существительных и восемь прилагательных!), — настолько отчетливо вызывает оно в нас и движение взгляда (т.е., в наших терминах, смены аттенциональных фокусов — Л.Г.), и движение чувства (т.е. эмоциональные сдвиги — Л.Г.).*

Однако прежде чем перейти к аттенциональным фокусам (ФВ), следует задаться вопросом: что здесь можно принять за интенциональный объект? Я думаю, что он намечен в первых двух строчках: интенциональным объектом, на понимание которого направлено стихотворение, является некое милое сердцу зрительное восприятие: *Чудная картина, / Как ты мне родна...* Мы изначально настроены тем самым на воссоздание некой чудной и милой сердцу картины; она вместе с вызванным ею чувством и есть «то, о чем» данное стихотворение. Вместе с тем интенциональный объект в этих первых двух строчках «только» намечен. Точнее, направленный на этот объект интенциональный акт, говоря феноменологическим языком, зрительно «пуст»: мы не знаем, какая именно картина имеется в виду, знаем только, что она «мила сердцу». Для конкретного восприятия именно той картины, которая здесь подразумевается, т.е. для реального наполнения интенционального объекта, в тексте должно быть произведено *образное наполнение картины*, с тем чтобы у читателя сформировалось *целостное представление* об этой картине; кроме того, в процессе формирования этого представления необходимо передать *движение эмоции*.

Далее Гаспаров ставит вопрос: почему данное короткое стихотворение «такое цельное»? И отвечает: «*потому что образы и чувства, сменяющие друг друга в этих восьми строках, сменяются в последовательности упорядоченной и стройной*». Затем идет объяснение, чем обеспечивается эта упорядоченность, и выясняется, что в первую очередь она создается за счет строго определенной последовательности того, что у нас называлось аттенциональными сдвигами, или *сменой фокусов внимания*. Иными словами, образное наполнение безглагольного (именного) дискурса происходит за счет неотмысливаемо наличной в нем процессуальной формы смысла, которую следует поэтому рассматривать как дискурсивную константу.

Порядок предметностей, чередующихся в этих сменах фокуса внимания, определить не трудно, поскольку они — в отличие от конкретного наполнения изначально намеченного интенционального объекта с пока еще пустым подразумеванием — семантически (чувственно) означены: это *равнина, луна, свет небес, снег, сани, бег*. Гораздо сложнее истолковать этот порядок таким образом, чтобы прояснить процесс создания конкретной и целостной зрительной картины. Гаспаров делает это с блеском: он не только фиксирует то, что каждый раз находится в текущем ФВ и чем «это» сменяется, но задает также и пространственные координаты, в которых прослеживаются характеристики изменений в направленности нашего внимания (прямо, вверх, вниз и т.д.). Именно в ходе таких изменений в стихотворении создается *цельный образ пространства как такового*, который и обеспечивает целостность зрительного наполнения всей картины как интенционального объекта, изначально данного пустым. Создание цельного образа пространства обеспечивается вовлечением в понимание фонового знания: ведь в конечном счете все это становится возможным благодаря тому, что алгоритм создания искомой картины в какой-то мере воспроизводит ту последовательность актов сознания, которую можно себе представить как череду номинативных и связывающих их процессуальных смыслов.

«*Что мы видим?*» — спрашивает Гаспаров (разумеется, речь идет о феноменологическом созерцании). И отвечает: «*Белая равнина — это мы смотрим прямо перед собой*». В нашем контексте это означает, что процесс развертывания поэтического смысла начинается с фиксации исходного аттенционального фокуса во «фронтальной» позиции, затем последуют разные смены ФВ, соответствующие комбинаторике

семантизированных нозм и нозтических актов сознания. «*Полная луна*», — продолжает Гаспаров, — это *«наш взгляд скользит вверх»*, т.е. вверх перемещается ФВ, и мы тем самым формируем *топографические параметры* (пределы) искомой картины. В *«Свет небес высоких»*, — продолжает Гаспаров, — *поле зрения, расширяется, в нем уже не только луна, а и простор безоблачного неба*» (расширение поля зрения — особая разновидность смещения ФВ). Далее описаны еще две последовательные смены ФВ: «*И блестящий снег*» — *наш взгляд скользит обратно вниз. «И саней далеких одинокий бег»* — *поле зрения опять сужается, в белом пространстве взгляд останавливается на одной темной точке*» (добавлю, что до сужения направление взгляда вернулось к исходной позиции, когда мы смотрим прямо перед собой).

В финале этого описания Гаспаров дает резюмирующую схему, фиксирующую алгоритм создания целостной пространственной картины: *«Выше - шире - ниже — уже: вот четкий ритм, в котором мы воспринимаем пространство этого стихотворения. И он не произволен, а задан автором: слова "...равнина", "...высоких", "...далеких" (все через строчку, все в рифмах) — это ширина, высота и глубина, все три измерения пространства»*. Иными словами, мы получаем целостный образ пространства за счет аттенциональных смен, которые как говорилось выше, всегда семантически означены.

Без создания цельного образа пространства как такового невозможно было бы указание этих конкретных смен ФВ по их направленности: то обстоятельство, что при чтении строки *«И блестящий снег»* наш взгляд скользит с фронтального направления «вниз», никак семантически не обозначено: в данной строке наличествует только то, что косвенным, но «обязательным к исполнению» образом детерминирует перемещение фокуса внимания на снег. Но почему фокус внимания перемещается в данном случае именно вниз? Этот эффект является следствием сочленения задействованных в стихотворении актов сознания с «фоновым», т.е. внетекстовым знанием: снег под луной, а не наоборот. Фоновое базовое знание — это не референция, а именно *знание*, т.е. особый, неотмысливаемый слой смысла внеязыкового сознания, состоящий из феноменологически зафиксированных нозм и нозс, соответствующих феноменологическому опыту повторяющихся, ситуативно и/или контекстуально обусловленных восприятий, которые при употреблении языка транспонируются в смысловые пресуппозиции сознания. Топографическая картина мира — не референт, а неотмысливаемая система координат фонового базового знания, на которую ориентируются смысловые пресуппозиции сознания, являющиеся своего рода резервуаром средств для создания референции к чему-то конкретно в данном дискурсе подразумеваемому.

В конце анализа Гаспаров фиксирует (разумеется, в своей терминологии) интересующий нас аспект — *процессуальность* передаваемого стихотворением смысла: *«наконец, последнее, ключевое слово стихотворения, "бег", сводит и ширь, и высь, и даль к одному знаменателю: движению. Неподвижный мир становится движущимся: стихотворению конец, оно привело нас к своей цели»*. От себя добавлю, что «бег» — единственное в данном стихотворении *отглагольное* существительное, прямо именующее процесс.

Остановлюсь на этом выводе Гаспарова подробней. Здесь, на мой взгляд, отнюдь не имеется в виду, что стихотворение привело (как к своей цели) к акцентированию процессуальности в том смысле, что, мол, наконец-то оно достигло выражения *процессуальности референта* (мира). Нет, здесь скорее подразумевается процессуальность внутреннего смысла данного стихотворения. Иными словами, процессуальны сменяющие друг друга ментальные состояния «лирического героя», обозначенные сочленением актов сознания и индуцируемые в читателе — взгляд вперед, вверх, вниз и пр. В самом деле, наивно было бы полагать, что цель стихотворения — фиксация процессуальности мира, окружающего лирического героя (как бы фиксация формулы «дважды два — четыре»). Речь идет о другом — о движении взгляда и об эмоциональных переживаниях лирического героя, индуцируемых и в

читателе, т. е. о процессуальности не трансцендентного, а трансцендентального (имманентного) порядка.

Лишним доказательством правильности такого толкования служит непосредственное продолжение статьи Гаспарова: такова (т.е. соответствует вышеуказанному алгоритму) *«последовательность образов; а последовательность чувств?»*. Мы видим, что Гаспаров «переводит стрелку» от создания конкретного образного наполнения картины на *эмоциональное состояние* лирического героя, отмечая его повышенную лабильность: *«Начинается это стихотворение-описание эмоциональным восклицанием (смысл его; не по хорошу мила, а по милу хороша эта описываемая далее картина!)»*. Как уже говорилось, на мой взгляд, здесь не просто *эмоциональное восклицание* указанного Гаспаровым типа, а *фиксация интенционального объекта* и — одновременно — *базового отношения к нему*; фактически это — несущая субъект-предикативная конструкция всего стихотворения. Без такого рода начала — с фиксацией данного или подобного чувства — стихотворение вряд ли бы состоялось (попробуйте убрать первые две строчки, и все дальнейшее рассыплется, останется непонятным). Далее Гаспаров описывает происходящие в стихотворении эмоциональные сдвиги (я могу не соглашаться с их толкованием, но сам факт наличия таких сдвигов и их локализация отмечены вполне убедительно, а это и представляет для нас первостепенный интерес): *«... Затем тон резко меняется: от субъективного отношения поэт переходит к объективному описанию. Но эта объективность — и это самое замечательное — на глазах у читателя тонко и постепенно вновь приобретает субъективную, эмоциональную окраску. В словах: "Белая равнина, полная луна" ее еще нет: картина перед нами спокойная и мертвая. В словах "свет небес... и блестящий снег" она уже есть: перед нами не цвет, а свет, живой и переливающийся. Наконец, в словах "саней далеких одинокий бег" — картина не только живая, но и прочувствованная: "одинокий бег" - это уже ощущение не стороннего зрителя, а самого ездока, угадываемого в санях, и это уже не только восторг перед "чудным", но и грусть среди безлюдья»*.

И, наконец, — значимый вывод: *«Наблюдаемый мир становится пережитым миром -- из внешнего превращается во внутренний, "интериоризируется": стихотворение сделало свое дело»*. Именно интериоризация, заключает Гаспаров, есть цель таких текстов, добавим, что именно этот разворот темы, предполагающий смысловое преобразование трансцендентности в трансцендентальность, т.е. в смысл, в наибольшей степени соответствует взглядам Флоренского.

В конечном итоге получается, что за счет 1) целенаправленного движения взгляда по сформированному пространству и 2) адекватного структурирования потока эмоциональных состояний от начала до финала (интериоризации чувства) мы воссоздаем в процессе понимания целостное ощущение интенционального объекта стихотворения — той чудной картины, о которой сказано в самом начале. т.е. мы насыщаем изначально пустой интенциональный акт реальным смысловым наполнением (а значит, адекватная референция интенционального объекта происходит на уровне целого дискурса; возможность такого толкования также специально оговаривалась выше).

Проведя в дальнейшем анализ более длинного безглагольного стихотворения Фета *«Это утро, радость эта»* (в доказательство того, что цельность первого стихотворения определяется отнюдь не его краткостью), Гаспаров заключает, что и в нем основа — *«та же самая: сужение поля зрения и интериоризация изображаемого мира»*. Из этого можно заключить, что формирование стихотворного текста происходит путем совмещения двух типов процессуального смысла, основанного на сдвигах нозе.

Существенно, что во втором анализе (здесь я воздержусь от воспроизведения иллюстраций и ограничусь теоретической стороной дела) Гаспаров показывает также, как в безглагольном дискурсе может быть задействован параметр времени (т.е. как к дискурсу может быть подключена процессуальная смысловая зона, подведомственная отсутствующему

глаголу). Это становится возможным в безглагольном дискурсе за счет игры с течением восприятий, т.е. с потоком нозс: сначала «*образы воспринимались как впервые увиденные (и даже с трудом называемые)*», потом «*они воспринимаются как уже знакомые внутреннему опыту*». Это происходит на фоне ожидания, диктуемого фоновым (а не текущим) знанием, которое «говорит», что «*вечер сменяется ночью, ночью замирает жизнь и воцаряется сон...*». Ожидание включает в себя чувство времени: «*"зори без затмения" — это длящиеся зори, и "ночь без сна" — длящаяся ночь; да и сам переход от картины утра к картине вечера и ночи невозможен без включения времени...*» и т. д. Помимо того, что ощущение времени само по себе порождает дополнительные процессуальные смыслы, оно продуцирует или подготавливает предикативное восприятие стихотворения.

23. Случаи функционирования предикативности в качестве скрытого процессуального смысла. Скрытым процессуальным смыслом может также оказаться (в определенных случаях) и *предикация*, т.е. одно из базовых и обычно маркированных лингвистических явлений. В последнее время подобные идеи активно обсуждаются в *теориях дискурса*, в том числе в форме различных интерпретаций приема взаимообращения ноэматического и чистого ноэтического смыслов (у Флоренского — прием взаимообращения слова и предложения). Особенно активно эта идея разрабатывается во французской школе дискурса — у М. Пешё, П. Серию и др. В центре внимания этой школы находится выявление скрытой (чувственно не явленной) предикативной основы именованного, осуществляемого посредством именных групп с отглагольными существительными (так называемая «номинализация»). Здесь постулируется, что в основании номинализации, свойственной многим языкам, в том числе и русскому, лежит в чем-то аналогичный пресуппозиции *преконструкт* — предикативный акт, утверждённый *до и вне* данного дискурса: «*три основных понятия — интердискурс, преко́нструкт и интрадискурс*» — обосновывают тезис о том, что «*дискурс образуется из дискурсного всегда-уже-здесь существовавшего, что «оно говорит» всегда «до, вне, независимым образом» и что неутверждённая предикация предшествует и господствует над утверждённой предикацией*» (Серио 1999 - <http://aperlov.narod.ru/texts05/serio.pdf>). В качестве примера приводится, в частности, именная группа *развитие производства*, являющаяся преко́нструктом в силу содержащейся в ней скрытой предикации, наличие которой выявляется через возможность развертывания исходной именной группы в предикативную конструкцию: *развитие производства = производство развивается (развивалось, будет развиваться)*; так же *авторитет партии = у партии есть авторитет*, но не *член партии* (Серио 1986, с. 14 - 17). П. Серию подробно проанализировал советский политический дискурс (на основе докладов на съездах КПСС) и отметил особую распространенность в нем этого приема.

Политические доклады часто сплошь состояли из номинализаций и потому содержали консистентную серию скрытых предикаций, т.е. процессуальных смыслов. Вот один из приводимых французским лингвистом примеров такого дискурса: «*Главным источником роста производительности труда должно быть повышение технического уровня производства на основе развития и внедрения новой техники и прогрессивных технологических процессов, широкого применения комплексной механизации и автоматизации, а также углубление специализации и улучшение производственного кооперирования предприятий*» (Серио 1999, там же).

В этой теории, таким образом, фиксируется, что за именными группами не могут не стоять — даже в таком «деревянном» типе дискурса — *скрытые процессуальные смыслы*, каковым предикация, несомненно, является. Приведенный текст поддается пониманию только за счет подразумеваемого в нем процессуального смысла, т.е. за счет непосредственного схватывания слушающим скрытых предикаций.

Этот вышедший на авансцену под занавес XX века лингвистический феномен подпадает, как видим, под аргумент Флоренского о возможности существования чувственно семантически не явленного процессуального смысла: предикативный акт, реконструируемый в данной теории дискурса из преконструкта, никаким чувственным маркером в исходном дискурсе не помечен. Скрытая предикативность схватывается здесь в модусе непосредственного понимания, как и факт отсутствия таковой в формально аналогичном словосочетании *член партии*. Интересно, что сходным образом интерпретирует преконструкт и сам П. Серิโอ: «*Не поддающиеся логико-лингвистическим функционированиям, преконструкт и стыковка высказываний являются результатами собственно дискурсных эффектов. Развиваясь на лингвистической основе, они тем не менее возникли из несовпадения между актуальным дискурсом и дискурсом «уже всегда имеющимся», который предшествует и главенствует над всяким актом высказывания, производимым его субъектом*» (там же).

При всем сходстве этой дискурсивной теории с позицией имеславцев само имеславие оценивается Патриком Серิโอ и его единомышленниками в духе вышеописанного расхожего понимания, т.е. как жестко именное направление, прямо увязывающее имя с существованием сущности и потому (подразумеваемый вывод) отрицающее значимость предикации. Отсюда понятно, что собственное единомыслие с имеславцами оказывается для Запада, мягко говоря, неожиданным (аналогичное удивление выказывалось и при интерпретации французскими исследователями московской математической школы, которая в известном смысле разделяла философские предпосылки имеславия — см., напр., Грэхэм, Кантор 2011).

24. Гипотетическая деноминализация или глаголизация дискурса. Не исключено (в порядке гипотезы), что в качестве конструкции со скрытыми формами смысла можно рассматривать и тот языковой феномен, который можно было бы в противовес номинализации назвать *деноминализацией, глаголизацией* (или *имектомией* по аналогии с феноменологическим понятием нозмоктонии). Имеется в виду явление, обратное рассматривавшейся выше скрытой предикации: в случае глаголизации, как это понятно из названия, усекается или скрывается не глагольная зона, а именование, *не предикат, а субъект* — так, что дискурс в целом при максимальной насыщенности глаголами и предикациями испытывает субъектный и именной «голод».

Вот пример из Бориса Пастернака:

Памяти Демона

*Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.*

*Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.*

*Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.*

*Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.*

*От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, — лавиной вернуса.*

Стихотворение относится к раннему, новаторскому, этапу творчества Пастернака. В данном стихотворении можно усмотреть немало нешаблонных (во всяком случае, по степени их концентрации) лингвистических решений, из которых остановлюсь на трех.

а) Опускание базового субъекта. Субъект всех значимых предикаций стихотворения — Демон, но он назван здесь только в заглавии (обратный случай к стихотворению Мандельштама «Среди лесов...»): там номинация интенционального объекта — в самом конце, здесь номинация субъекта — в преддверии начала).

Обратен этот случай и относительно номинализации: взамен нее можно в порядке противопоставления говорить о *глаголизации* (или деноминализации). Не имея прямого именованного субъекта, мы фактически и при такого рода опущении, как и при опущении глаголов (предикатов), делаем то же самое — восстанавливаем (реконструируем) из прекопструктов скрытый акт предикации в его целостности (в данном случае — реконструируем его субъект).

Прекопструкты в данном конкретном случае не анонимны (непонятно, где и кем утверждены — как в примерах П.Серио), а хорошо известны: это прежде всего Лермонтов, Врубель и Блок. Факт этого опущения получал в литературе разные толкования. Высказывалось, например, мнение, что опущенный базовый субъект здесь двойится и что не исключено скрытое присутствие в этой позиции самого лирического героя, а, возможно, и их обоих: Демона и лирического героя — в том смысле и на том основании, что использованные глагольные формы допускают в качестве субъекта и *он* (Демон), и *я*. Впрочем, это раздвоенность в рамках единства: очевидно, что здесь опускаемый субъект намечен вполне определенно — это он, Демон; интерпретаторы же имеют в виду возможный «второй этаж» смысла — внутреннее самоотождествление раннего Пастернака с Демоном, откуда получает объяснение и подразумеваемая «смерть» Демона: «Открыв книгу “Сестра моя — жизнь” стихотворением “Памяти Демона”, Пастернак, как известно, поставил на ее титульном листе слова “Посвящается Лермонтову”. Тут содержался двойной парадокс: давно погибший поэт был назван как ныне живущий, а его легендарному персонажу — существу, по законам поэтической онтологии, безусловно бессмертному — адресовалась лирическая эпитафия... Прощание с Демоном было прощанием с романтической претензией на исключительность, с пафосом героической отверженности, который так остро воплотился в образах, созданных Лермонтовым, Врубелем, Блоком... что в лице Демона — буквально! — Пастернак расставался с собой прежним, с перспективой превращения собственного образа в “зрительно-биографическую эмблему”, подменяющую “живое, поглощенное нравственным познанием лицо”, как об этом говорится в “Охранной грамоте”. Использованные в стихотворении “Памяти Демона” эллиптические конструкции были грамматическим средством развоплощения героя» (Дубшан Леонид - <http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/9/dubshan.html>). Развоплощение героя — это содержательно более насыщенный литературоведческий аналог формального лингвистического понятия опущения субъекта.

б) Опускание периферических субъектов и других именных позиций. Опускание имен — характерный прием подобного поэтического дискурса, поскольку вместе с базовым субъектом здесь подвергаются опущению субъекты других предикаций и имена в других синтаксических позициях.

1. «Но сверканье рвалось В волосах, и, как фосфор, трещали...». Имеется в виду: трещали волосы.

б. *Не рыдал, не сплетал*
Оголенных, исхлестанных, в ирамах. В шестой строке усечены «руки» (руки Демона фигурируют во всех изображениях Врубеля, говорится о них и у Блока; о возможной ассоциации с последним см. там же — <http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/9/dubshan.html>).

в) **Иноименование базового субъекта через тропы.** Отмечу как минимум два таких случая.

1) Демон — «колосс»: *«И не слышал колосс, Как седеет Кавказ за печалью».* Это — не прямое именование подразумеваемого субъекта, данное в его базовой позиции (синтаксического субъекта). По языковой форме это скорее всего сравнение, но не обязательно: в нем можно усмотреть и элементы метонимии или метафоры. Однозначного определения тропа добиваться не стоит, поскольку каждое сочетание слов погружено здесь в поэтический контекст и потому — отражает разнообразные смысловые импульсы и само их порождает. В литературе говорится (без дальнейшей детализации) об общей *эллиптичности* этого стихотворения. Поскольку эллипсис — это троп, в наших целях можно остановиться на этом общем определении: нам важно именно то, что в любом случае перед нами *троп*, в котором, по определению, опущено прямое (фактически личное) имя субъекта.

2) *тьень (тьень Демона): Как горбунья дурна,*
Под решеткою тень не кривлялась.

Субъект (Демон) референцирован через его тень, которая из-за крыльев — *как горбунья дурна*, т.е. здесь производится сравнение с опущением еще одного — наряду с Демоном — термина, а именно — *крыльев*. Однако последние названы выше, и потому сравнение выглядит детерминированным для любого, в том числе неподготовленного, читателя. То, что тень Демона *не кривлялась*, означает либо — что Демон *был в своей печали недвижим* (продолжение темы *«Не рыдал, не сплетал Оголенных, исхлестанных, в ирамах»*), либо — что отбрасываемая Демоном, существом иной, неземной природы, тень не дрожит вместе с мерцающим огоньком лампы.

Последнее толкование вероятно потому, что «смерть» Демона, подразумеваемая в заглавии стихотворения, есть его развоплощение, понимаемое как растворение в земной природе: согласно Дубшану (там же), заключительная строка *«Спи, подруга, — лавиной вернуся»* означает прощание с Тамарой неземного Демона, который через смерть воплотится в природе Кавказа. В подтверждение этой версии приводятся строки Пастернака из цикла 1935 года “Из летних записок”, где поэт видит Кавказские горы:

...Там реял дух земли, / Который в идеале / На небо возвели / И демоном назвали.

(“Дух земли” процитирован из Гете... — там же).

Возникает вопрос: если в номинализации отсечение глаголов и опущение явной предикации порождает, как говорилось выше, скрытый процессуальный смысл (серию предикаций), то какой дополнительный смысл порождается опущением имен и самого субъекта — процессуальный или именной?

По логике антиномической игры (одно на самом деле есть многое и т.д.) и по характеру доминирующего процесса (опущение имен) напрашивается тот ответ, что в стихотворении скрыто наращивается усеченный номинативный смысл — подобно тому, как при опущении глаголов наращивался смысл процессуальный.

Вписывается ли такой ответ в реконструированную из текстов Флоренского теорию соотношения процессуального и номинативного смысла и в рамки его авторского аргумента? Да, вписывается — если учесть (как об этом говорилось выше), что и глаголы могут

пониматься не как предикаты, а как имена тех или иных процессов. Что мы наблюдаем? Изохронный ряд глагольных форм, но это не предикация в ее обычном виде и понимании. Глаголы в стихотворении семантически даны, но мы уже убедились выше, что именно номинативный смысл всегда семантически означен. Мой тезис состоит в том, что при таком построении дискурса *глаголы выражают номинативный смысл, но не номинируют субъекта, а изображают некую картину*. Перед нами изображение, а не череда реальных предикаций, во всяком случае, форма глаголов — приходил, намечал, не ломал и т.д. — позволяет понять их как *изображение* регулярно воспроизводящегося события, имеющего вследствие повторяемости устойчивый образ (а не как номинацию субъекта и приписывание ему череды предикаций). Мы здесь скорее смотрим (и видим), чем понимаем. Глаголы здесь носят образопорождающий, а не предикативный характер.

Однако исходя как из вышеизложенной теории, так и из практики восприятия стихотворения Пастернака, мы можем предположить, что здесь (наряду с имеющимся в каждом дискурсе маркированным процессуальным смыслом, связанным со сменой ФВ) наращивается также и не получивший чувственного выражения процессуальный смысл. Он наращивается — по все той же антиномической логике — не в глагольных, а в именных компонентах стихотворения. Поскольку субъект дается через тропы — метафоры и метонимии, сравнения и т.п., а каждый троп есть результат сдвига актов (например, сдвиг интенции и аттенции), то во всех тропированных именных конструкциях скрыт процессуальный смысл — мы можем его понять только через «схватывание» (разгадывание) процесса смыслообразования. Троп не простое имя, а имя, фундированное внутренним процессом. Такое понимание разрабатывается в последние годы в теории метафоры как предикации (Арутюнова - <http://www.philology.ru/linguistics1/arutyunova-90.htm>). В общем плане можно, таким образом, говорить, что в данном стихотворении выражен *синтетический* — номинативно-процессуальный — смысл.

Такого рода деноминализованный тип дискурса не характерен для русского языка. Маяковский усматривал в этом стихотворении Пастернака черты некоторого насилия над языком, проявившегося в обилии «помарок», то есть следов чрезмерной правки (*И пусть, озверев от помарок, про это пишет себе Пастернак. А мы... соглашайся, Тамара!*). Принципиально важно, однако, что хотя этот тип дискурса для русского уха не привычен, он тем не менее *возможен*, и демонстрация Пастернаком этой возможности — факт, *теоретически* чрезвычайно важный (практика же закономерно не привилась, и сам Пастернак на более позднем этапе отказался (и даже чуть ли не отрекся) от своего раннего стиля, т.е. от, условно говоря, глаголизации).

В целом можно, как представляется, полагать, что названные и схожие с ними концепции и направления лингвофилософской мысли (основанные на тезисе о примате плана содержания и на понимании того, что существенная часть процессуальных форм смысла не получает в языке конкретно-чувственного выражения), не только созвучны с языковой теорией П. Флоренского, но и совпадают с ней по многим параметрам, причем эта проблематика становится со временем все более актуальной.

Мы имели возможность убедиться в том, что скрытые процессуальные смыслы могут содержаться в самых разнообразных дискурсивных явлениях: в сдвигах фокуса внимания или перепадах эмоционального состояния, в двуголосии и в таком первостепенном для лингвистики феномене, как субъект-предикативное отношение. Но это лишь видимая часть айсберга: за формально номинативными именными группами, как и за явленными глагольными предикациями, могут стоять разнообразные дополнительные смыслы, которые, не будучи чувственно данными, порождаются при любом сочленении актов сознания. Эти смыслы формируют в своей совокупности различные компоненты того составляющего важную часть любого и каждого дискурса процессуального поэтического смысла, который во всей своей полноте лингвистикой еще только «предчувствуется».

Список литературы

1. Апресян 1999 — *Апресян Ю.Д.* Теоретическая семантика в конце XX столетия / Ю.Д. Апресян // Известия РАН. – Сер. лит. и яз. – 1999. – Т. 58. – № 4. – С. 39–54.
2. Арутюнова 1990 — *Арутюнова Н. Д.* Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990). С. 5-32.
3. Бахтин 1972 — *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., «Художественная литература», 1972.
4. *Гаспаров М. Л.* Фет безглагольный. Композиция пространства, чувства и слова. // Избранные труды. Т. II. О стихах. - М., 1997. С. 21-32.
5. Генисаретский — *Генисаретский О. И.* Комментарии к тексту Флоренского «Значение пространственности» (18.04.1925) — <http://knigi.link/sochineniya-florenskiy/znachenie-prostranstvennosti-7447.html>
6. Гоготишвили 1997 — *Гоготишвили Л.А.* Лингвистический аспект трех версий имяславия (Лосев, Булгаков, Флоренский) / Лосев А.Ф. Имя. СПб., 1997.
7. Гоготишвили 2010 — *Гоготишвили Л.А.* Теория П. Флоренского о корреляции изобразительных и языковых приемов (обратная перспектива и «круглый» дискурс) // Вопросы философии. – 2010. – №11. – С. 114-125
8. Гоготишвили 2006 — *Гоготишвили Л.А.* Непрямое говорение. М., 2006.
9. *Грэхэм, Кантор* — *Грэхэм Лорен, Кантор Жан-Мишель* «Имена бесконечности. Правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве» СПб., 2011)
10. *Гуссерль Эдмунд.* Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии. Т.1 (пер.с нем. А.В.Михайлова) — М.: ДИК, 1999.
11. *Домбровский Б.Т.* От явления ангела к «Черному квадрату» Малевича. Журнал «VOX», <http://vox-journal.org/html/issues/347/373>)
12. Дубшан 1971 — *Дубшан Леонид.* Близнец Демона. - *Звезда*, 2000, № 9. — <http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/9/dubshan.html>
13. Вяч. Иванов 1971 — *Вяч. И. Иванов.* Собрание сочинений. Брюссель, 1971. Т. 1.
14. Вяч. Иванов 1974 — *Вяч. И. Иванов.* О поэзии Иннокентия Анненского. Собрание сочинений. Брюссель, 1974. Т. 2, с. 573 – 585.
15. Еп. Иларион 2002 — Еп. Иларион (Алфеев). «Священная тайна Церкви» (Введение в историю и проблематику имяславских споров). СПб, 2002.
16. Ларюэль 2011 — *Ларюэль Ф.* Представление не-философии // Философия и культура. 2011. № 4. С. 99–105.
17. *Лосев 1983* — *Лосев А. Ф.* Языковая структура. Москва, МГПИ, 1983.
18. *Лосев 1993* — *Лосев А.Ф.* «Очерки античного символизма и мифологии», М., Мысль, 1993.

19. *Мандельштам Осип*. Сочинения в двух томах. Том первый. Москва. Художественная литература. 1990.
20. *Мандельштам Надежда* — Вторая книга. "Вторая книга" (Париж: YMCA-PRESS, 1972).
21. Серю 1986 — S e r i o t Patrick. Langue russe et discours politique soviétique : analyse des nominalisations. — *Langages*. 1986. № 81, p. 11—41.
22. Серю 1999 — *Серю П.* Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 12-53. <http://aperlov.narod.ru/texts05/serio.pdf>
23. Смирнов 2015 — *Смирнов Андрей*. Субстанциальная и процессуальная картина мира (к вопросу о типологии культур и картин мира). Философская антропология. 2015. Том 1. № 1, сс. 62-81. http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/phan/PhAn_RUS.pdf
24. Флоренский 1990 — *Флоренский П.А.* У водоразделов мысли // Флоренский П. А. Сочинения в 2-х т. Т.2. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990 (Приложение к журналу "Вопросы философии"). <http://www.vehi.net/florensky/vodorazd/index.html>
25. Флоренский 1995 — *Флоренский П.А.* Иконостас. М.: Искусство, 1995.
26. Флоренский 1996 — *Флоренский П.* Иконостас // Флоренский П. Сочинения в 4-х т. Том 2. М.: Мысль, 1996. <http://www.vehi.net/florensky/ikonost.html>
27. Флоренский 1998 — *Флоренский П.* Имена. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1998. <http://www.magister.msk.ru/library/philos/florensk/floren03.htm>
28. Флоренский 1999 — Флоренский П. Сочинения в 4-х т. Том 3 (1). М.: Мысль, 1999
29. Флоренский 2000 — *Флоренский П.* Анализ пространственности <и времени> в художественно-изобразительных произведениях // Флоренский П. История и философия искусства. М.: Мысль, 2000. С. 81–270 - http://philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm#zp
30. Флоренский 2000б — Абсолютность пространственности. *Флоренский Павел*. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М.: Мысль, 2000, с. 274-295. <http://prometa.ru/projects/ecognito/1/3>
31. Хайдеггер 1998 — *Хайдеггер М.* Прологомены к истории понятия времени. Издательство «Водолей», Томск, 1998 http://society.polbu.ru/hajdegger_timeconcept/ch04_viii.html
32. *Хоружий Сергей*. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности. <http://litread.me/pages/236945/295000-296000>
33. *Шпет Г.Г.* Явление и смысл (Феноменология как основная наука и её проблемы). Томск, 1996.

ⁱ Приведу и более развернутую цитату: «Как мы уже говорили в Главе VII, Флоренский стоял на более ярко выраженных имяславских позициях, чем, например, иеросхимонах Антоний (Булатович). Мы

не можем в данном вопросе не согласиться со священником Дмитрием Лескиным, утверждающим, что имяславие Флоренского "спокойнее по тону", чем "бойцовское" богословие Булатовича, но "намного радикальнее по своему существу" 55. Флоренский, как мы помним, высказывался в том смысле, что имя Божие есть Сам Бог вместе со звуками и буквами этого имени. Кроме того, Флоренский уделял большое внимание магической природе слова и имени (последняя тема - одна из излюбленных у него со времен "Столпа и утверждения истины")» — Еп. Иларион 2002, с. 55-56.

ⁱⁱ Об интегральности идеи в противоположность дифференциальности эйдоса см. раздел «[Вопрос о различии между "эйдосом" и "идеями"](#)» в книге Лосев 1930 — <http://www.psylib.org.ua/books/lose000/txt016.htm#19>

ⁱⁱⁱ «Пустое подразумевание», по Хайдеггеру, есть «представление чего-то в форме мысли о чем-то, восприятия, которое может возникнуть в ходе разговора, например о мосте. Я подразумеваю сам мост, но при этом не вижу его таким, как он выглядит, а только подразумеваю его в смысле пустого подразумевания. В значительной мере наша естественная речь протекает именно в этом речевом модусе. Мы подразумеваем сами вещи, а не образы или представления, однако они не даны нам зримо. В пустом подразумевают предмет тоже подразумевается просто и непосредственно в его самости, но эта данность пуста, т.е. лишена какого-либо созерцательного исполнения. С другой стороны, созерцательное исполнение можно обнаружить в простом воображении, в котором дано хоть и само сущее, но не в живом присутствии». Хайдеггер М. http://society.polbu.ru/hajdegger_timeconcept/ch04_viii.html